

Георгий Шивелевич

ЧЕСТЬ

— Издание Военно-Кадетского Общества
П а р и ж

*„Не знал я вас господа кадеты,
честно признаюсь, и только те-
перь осознал глубину вашего по-
движничества“*

А. Амфитеатров.

*Свой труд посвящаю Симбирскому Кадетскому
Корпусу и через него всем Российским Кадетским
корпусам.*

Автор.

ПРЕДИСЛОВИЕ

В июле 1882 года, указом Императора Александра 3-го, Симбирская Военная гимназия была переименована в кадетский корпус и, из полузакрытого учебного заведения, стала закрытым, с несколько видоизмененной программой, главным образом в области воспитания юношества и постепенной подготовки его к будущей военной карьере, к высокому званию офицера русской армии, однако не запрещающей окончившим корпус продолжать свое дальнейшее образование в университетах и других высших учебных заведениях.

Приехавших с летних каникул, гимназистов выстроили на внутреннем плацу, торжественно прочитали не многословный, но дышащий волей, указ Императора, и обрядили в новую, черного сукна, форму с синим погоном, на котором цветом светлой меди горели, поставленные штампом, две буквы — «С.К.». Головной убор гимназии был заменен черной фуражкой с лаковым козырьком, красным околышем, на котором задорно сияла кокарда.

Вновь испеченным кадетам новая реформа, на первый взгляд, показалась мало ощутимой, во всяком случае не внесшей никаких изменений в прежний распорядок их жизни, кроме формы.

Но как только в корпус прибыл новый директор, с виду суровый генерал, сказавший кадетам для первого знакомства краткое, но яркое слово о чести мундира, да роты и классы от штатских воспитателей приняли офицеры Главного Управления Военно-Учебных заведений, кадеты, в особенности старших классов, скоро поняли и осознали значение и смысл новой реформы. Эта реформа коснулась не одной Симбирской гимназии, а и других военных гимназий, разбросанных по лику русской земли, и в широких кругах русской общественности, то ли по недомыслию, то ли по причине свободных идей, всегда занимавших мозги русской интеллигенции, была встречена отрицательно. Особенно недоброжелательно отнеслись к новой реформе многочисленные сторонники Милютинского, полуштатского, полувоенного воспитания юношества. Зная крутой нрав Императора, они не решились открыто выступать с критикой новой реформы, которую считали возвращением к грубой и тупой аракчеевщине и неразумной солдатчине. Они, пренебрегая выгодами бесплатного образования своих подрастающих чад, стали определять последних в классические гимназии, реальные училища и в другие средне-учебные заведения

Прожита жизнь . . .

Бессмысленным пожаром революции сожжена Родина, и может быть теперь русские люди, пройдя тернистый путь скитаний и найдя приют изгнания во Франции, Африке, Германии, Индии, Америке, Японии, Англии, Бразилии, Уругвае, Чили, Австралии, только теперь могут осознать мудрость этой реформы, только теперь могут понять, почему в усталых от жизни и скитаний сердцах кадет до сих пор живет прекрасный образ Родины, и неугасимым огнем горят заложенные в корпусе идеалы религиозности, строгости к себе, порядочности, честности и чести.

А в т о р

СИМБИРСКИЙ КОРПУС

Симбирский Корпус родился 15-го Августа 1882 года и окончил свой жизненный путь осенью 1918 года, прожив на свете короткую, но яркую, 36-и летнюю жизнь. Из его стен, ежедневно, вылетали на путь жизни, как птенцы из родного гнезда, воспитанники чести, украшая родословное дерево корпуса свежими листьями, давая ему жизненные соки, укрепляя его молодые корни. Росло, крепло дерево, протянуло свои ветви по просторам Родины и 8-го Сентября, в день корпусного праздника, цвело прекрасными синими цветами — цветами чести. Не сломили его ни ветры, ни ураганы... Падали лишь редкие, отжившие свою жизнь, листья, уступая место новым, сильным, молодым...

Налетел шквал японской войны... Дикие равнины Маньчжурии погребли много листьев... Осиротело дерево, но с гордостью смотрело, как падающие с него листья вплетались в венец русской армии, в венец воинской доблести, храбрости и чести.

Тайфун первой мировой войны, стихийный смерч бессмысленной и преступной русской смуты, с корнем вырвал цветущее дерево, разметал по миру остатки листьев... Усталые, измученные, осиротелые, падали они на чужие земли, орошались чужими дождями, пригревались чужим солнцем... Но дерево живет, и только цветет не синими, как на Родине, цветами, а серебряными-седыми.

Трехэтажное красного кирпича здание корпуса северным и главным фасадом выходило на Комисариатскую улицу. Западный фасад, составлявший спальни трех рот корпуса, примыкал к церковному двору Троицкого собора, южная часть, граничащая с Покровской улицей, представляла из себя сплошной, тоже красного кирпича, высокий забор, и восточное крыло занимали квартира директора корпуса, лазарет и домовая церковь. Внутри этого четырехугольника, отрезанного от внешнего мира, помещался огромный внутренний плац, окаймленный с южной и западной стороны широкой аллеей смешанных деревьев: тополя, черемухи, ольхи и дуба. На этом плацу производились: строевые учения, уроки гимнастики и игры. Зимой половина плаца заливалась водой и превращалась в каток. На второй половине плаца силами и трудами кадет строевой роты сооружалась ледяная гора с небольшим виражем, уносящим быстро скользящие санки и звонкие детские голоса в аллею тополей, примыкающую к западной части. В глубине плаца в западном его

углу было расположено кирпичное здание бани, рассчитанное на 40 человек и электрическая станция.

Перед главным фасадом корпуса, если пересечь Комисариатскую улицу, развернулся огромный передний плац, всегда находившийся под контрольным оком корпусного швейцара по причине того, что он находился в черте города, хотя и был с трех сторон обнесен внушительным деревянным забором. Четвертая сторона, смотревшая на здание корпуса, представляла из себя живую изгородь. Кадетам разрешалось посещать передний плац или по запискам дежурных по роте офицеров, или всем классом под наблюдением воспитателя или преподавателя. Учитель естественной истории, Александр Иванович Иванов и художник Павел Ильич Пузыревский, любили весной проводить свои уроки на переднем плацу: первый наглядно объясняя флору и фауну, второй развивая в кадетях способность рисования, или, как он говорил, — «писания» с натуры. В зимние месяца плац представлял из себя сплошной белый ковер, в солнечные морозные дни сверкавший мелкой алмазной пылью, и фактически посещался лишь немногими любителями вновь введенного в корпусе лыжного спорта. Особое очарование плац приобретал весной, когда белый ковер сменялся свежей весенней зеленью, когда природа ткала причудливый узор белых и желтых ромашек, одуванчиков, маргариток, когда желтыми цветами акаций зацветала попереч-

ная аллея, разделявшая плац на две равных части, да в квадрате четырех аллей, окаймлявших плац, неудержимо буйно цвела лиловая сирень. Из зеленой завесы сочных листьев тяжело свисали грозди томных цветов, влюбленно встречавших утро жизни, умывающихся росой первых солнечных лучей и тоскующих об утрате каждого уходящего дня.

Они словно знали, что их жизнь коротка, и жертвенно отдавали воздуху свой душистый сладкий аромат, дурманили головы кадетам старших классов, рождая образы Ниночек, Шурочек, Любочек и мысли какого-то сумбурного, непонятного, но властного желания любить и быть любимым.

В правом северном углу плаца помещался гимнастический городок с лестницами, мачтами, кольцами, подвижными шестами, где весной и осенью кадеты проводили уроки гимнастики, обычно кончавшиеся десятиминутной и в достаточной степени опасной игрой в «кошки и мышки».

Игра заключалась в том, что воспитатель из всего класса назначал «кошку», все остальные были мышки. По свистку воспитателя «мышки», используя все аппараты, быстро забирались на верх гимнастического городка и с испуганным трепетом следили за кошкой, которая одна оставалась на земле. По второму короткому свистку кошка бросалась ловить мышек. Все приходило в движение, темп которого всецело зависел от ловкости и хитрости кошки. Если кошка подыма-

лась вверх по правой мачте или лестнице, все мышки устремлялись влево и вниз, используя для этого имеющиеся аппараты и в критические минуты, рассчитывая на свою ловкость, бросались с одного на другой. Бывали случаи неудачных падений, и ушибленную мышку с вывихом руки или ноги отправляли в лазарет. Одно время директор корпуса генерал Симашкевич решил запретить эту игру, но учитывая положительные стороны игры, развивавшей в кадетях: ловкость, отвагу, находчивость и глазомер, он ограничился строгим приказом по корпусу, в силу которого — «кошки и мышки» сделалась достоянием трех старших классов корпуса.

Один раз в году, обычно в один из будних дней последней недели Апреля, на плацу торжественно проводился спортивный праздник корпуса, при участии кадет всех трех рот. Часть плаца, предназначенная для спортивных состязаний и изрезанная в разных направлениях меловыми широкими линиями, украшалась флагами. Разноцветные, большие тенты защищали публику от лучистого весеннего солнца. Обширная программа состояла из всех видов спорта культивируемых в корпусе, начиная от вольных групповых движений, бега, прыжков, аппаратной гимнастики и вольного боя на рапирах кадет 7-го класса. На праздник приглашались представители военных и гражданских властей, старшие классы гимназий, реального училища, дворянского пансиона и духовной семинарии. Не был забыт,

конечно, и прекрасный пол, и в огромной толпе сидящих зрителей приятно ласкали глаз, в особенности кадет старших классов, коричневые и серые ряды воспитанниц Мариинской и Якубовской гимназий.

Программа начиналась с выступления кадет 3-й роты и сводилась главным образом, к сокольским вольным движениям, старательно и четко исполняемым мальпшами, бегом на короткие дистанции и разнообразными детскими играми. Вторая рота выступала в более сложной программе, которая заканчивалась аппаратной гимнастикой на турнике и параллельных брусьях и виртуозными прыжками через кобылу.

После антракта, во время которого гостей обносили мороженым и прохладительными напитками, программа вступала в красочную фазу культа молодого, здорового тела, ловкости и утонченных форм физической красоты и изящества. Финальной и наиболее интересной частью программы было выступление лучших спортсменов корпуса. На этот раз они выступали в синих трикотажных брюках и открытых белых майках, демонстрируя перед экзальтированной публикой головокружительные номера партерной гимнастики. Пирамиды, комбинированные стойки, переднее и заднее солнце, сальто-морталэ встречались громом аплодисментов, не раз заглушавших спокойную мелодию корпусного оркестра, а трепетные, порою восторженные, порою беспокойные взоры Шурочек, Любочек, Ниночек, находили живой

отклик в сердцах с виду спокойных и уверенных в себе: Владимиров, Константинов, Георгиев. После раздачи призов, восторженная публика расходилась по домам, а кадет в виде награды за отстаивание спортивной чести корпуса, после обеда, пускали в отпуск.

Корпус состоял из 7-и классов с двумя параллельными отделениями в каждом и был разделен на три роты. Третья рота, «малыши» 1-го и 2-го классов, занимала западную часть первого этажа. Четыре огромных двери из классов вели в ротный зал, в конце которого, как и во всех ротах, нашел приют гимнастический городок. Выходная дверь из роты вела в большую швейцарскую, находившуюся под бдительным контролем монументального швейцара, по кадетской кличке — «Дедушка крокодил». За швейцарской следовала просторная приемная с мягкими диванами и креслами, расставленными по стенам, с которых в тяжелых золоченых рамках свисали портреты прежних директоров корпуса и картин из военных походов русской армии. Приемная служила местом свиданий родителей, родственников и знакомых с кадетами в два будних дня недели: вторник и четверг. Для кадет старших классов приемная являлась местом нелегальной почты от своих возлюбленных и к своим возлюбленным, через посредство очаровательной старушки — «тети Паши», когда то тоже знавшей взлеты и падения молодого чувства, а теперь жившей радостью весенних побегов чужого.

Вторая рота «юноши» — 3 и 4-й классы помещались во втором этаже. В правом дальнем углу ротного зала была маленькая дверь, ведущая в хорошо оборудованный физический кабинет, любимое детище инспектора классов, академика, полковника М. С. Иртэль, читавшего лекции по математике, физике и тригонометрии и считавшегося одним из требовательных преподавателей корпуса. На втором этаже так же нашли приют: Инспекторская, где собирались педагогические советы, учительская и малый зал для танцев, где долгие годы царил бывший артист императорского балета Ширяев, терпеливо обучавший кадет вальсу, шакону, миньону, полонезу, мазурке.

Квадратная арка из малого зала вела в огромную столовую, рассчитанную на все три роты корпуса. Столовая строевой роты была немного меньше и часть ее была занята домовою корпусной церковью, отделенной от столовой массивной дубовой раздвижной стеной, открывавшейся в часы церковных служб.

Первая или строевая рота 5, 6 и 7 классы — «мужчины» занимали весь третий этаж и в сравнении с другими ротами имели более обширную территорию. Классы двух отделений 7-го класса выходили в большой, двухсветный зал, где проводились все корпусные торжества а так же балы строевой роты.

Главное управление военно-учебных заведений, администрация корпуса, так и считали, что в Симбирском корпусе три роты, но юношеская

находчивость породила еще одну роту — «нестроевую». Нестроевой ротой кадетами почитался 5-ый класс, не имевший, в отличие от 6-го и 7-го классов, винтовок. Для кадет 5-го класса это было большой драмой, которую они с юношеским пылом искренно переживали. Особенно они ненавидели и презирали весенние полевые прогулки строевой роты по городу, когда звуки бравурного марша корпусного оркестра останавливали прохожих, когда из открытых окон высовывались милостивые головки знакомых гимназисток, восторженно машущих разноцветными батистовыми платочками, когда 6 и 7 классы сверкали холодной сталью ровных штыков... они понурые, глотая слюну досады, плелись где то позади, как обоз 2-го разряда, как «нестроевая рота».

Статистика корпуса говорит, что пятый класс почти никогда не имел второгодников, что самые неспособные, лентяи, злостные лодыри, перейдя в 5-ый класс, вдруг становились прилежными и, к удивлению преподавателей, преуспевали в науках. Не трудно понять несложную, но поразительно красивую детскую психологию, властно тянувшуюся к заманчивой перспективе 6-го класса, тянувшуюся к собственной винтовке, закреплявшей за ним звание кадета строевой роты.

Кадетский корпус, пять дней в неделю отрезанный от внешнего мира, и был тем оазисом, на котором кадеты проводили свое детство и юношество, где они учились и воспитывались, шалили, наказывались, имели свои радости и печали,

где маленький отрезок жизни каждого был поставлен в рамки суровой дисциплины, где почти каждый шаг жизни был под контролем воспитателя, где хорошие проявления детских натур поощрялись и дурные жестоко искоренялись.

Семилетнее пребывание в корпусе и было тем подготовительным периодом, в котором каждый оснащался моральным багажом с которым и вступал на неизведанный и скользкий путь жизни.

ЖОРЖИК БРАГИН

По линии отца Жоржик Брагин происходил из обедневших дворян Пензенской губернии, поколениями служивших в рядах русской армии. По линии матери он принадлежал к старинному знатному роду Аничковых, давших Родине плеяду государственных деятелей, храбрых военачальников, не раз обласканных монаршей милостью. Дед Жоржика, Петр Николаевич Аничков был Саратовским помещиком, сподвижником Столыпина в аграрной реформе, блестящим музыкантом и иногда, не без успеха, грешил пером в области русской поэзии.

В молодые годы, на одном из придворных ба-лов, он был представлен дочери генерала, Марии Ивановне Александровой и очень скоро, к удивлению столичного общества, женился на ней и уехал в Саратовское имение. Они прожили счастливую долгую жизнь, но полное счастье деда было омрачено отсутствием мужского потомства. Мария Ивановна подарила ему трех дочерей: Анастасию — мать Брагина, Ольгу и Надежду — его теток. Дед никогда не кичился знатностью

своего происхождения и в общении с людьми был прост и доступен. Младшие дочери были бездетными, а мать Брагина казалось только и родилась для того, чтобы носить и рожать детей. Их было у нее 12, шесть девочек и шесть мальчиков. Некоторые уходили из жизни, не достигнув школьного возраста, а те, которые достигали, определялись: девочки — в Саратовский институт, мальчики — в Симбирский кадетский корпус.

Дед жил жизнью своих многочисленных внучат, до болезненности любил их, и когда они подрастали рассказывал им о своих знатных родичах и об их заслугах перед Престолом и Отечеством. Он благоговейно-торжественно развешивал на большой обеденный стол, пожелтевший от времени, огромный лист родословного дерева Аничковых, испещренный в разных местах разного размера кружками с каллиграфическими надписями. Внучата с любопытством разглядывали непонятные для них кружки, и когда наступала тишина, дедушка спокойно начинал свой рассказ.

— В вас течет половина моей крови, крови Аничковых, род которых берет свое начало со времен первого собирателя земли русской — Иоанна Калиты... При дворе Иоанна Калиты был молодой, храбрый и талантливый военачальник, царевич Берка... Он был магометанин...

— А что такое магометанин, дедушка?

— Ну мусульманин... татарин...

— Значит он шурум бурум продавал?

— Сам ты шурум бурум... Слушай и не пе-

ребивай... Иоанн Калита очень любил царевича и ценил его за мужество и храбрость... Так довелось, что царевич Берка полюбил сестру Иоанна Калиты, отменную красавицу, и, как то бил ему челом...

— А что такое бил челом?

— Бил челом? ... Ну просил, просил разрешения жениться на ней...

— Вы разной веры... Она православная, а ты мусульманин, — спокойно ответил Иоанн Калита.

— Я приму православие и буду честным христианином, — в волнении произнес царевич Берка.

— В 1343 году царевич принял крещение и был наречен Аникием. Аникий и был родоначальником рода Аничковых. Он имел трех сыновей: Андрея, от которого пошла Смоленская линия, Ивана — Саратовская и Михаила — Уфимская... Вот я саратовский...

Дедушка повел пальцем вниз и остановился у кружка, в котором было написано — «Петр Николаевич Аничков».

— А это кто, дедушка? — спросил старший из внучат, Димитрий.

— Подожди, очки одену... Это Федор Денисович Аничков, воевода в левой руке войск в походе Василия 3-го на Казань, в 1530 году...

— А это?

Дедушка скосил глаза на другой кружок и прочел: — Петр Пантелеевич Аничков, майор

Стрелецкого полка Шепелева на службе против Стеньки Разина, в 1670 году.

— А в этом кружке кто, дедушка? — с другой стороны стола спросил Жоржик.

— В этом?

— Нет... В кружке, где много написано.

— Второго полка пешего строя, в корпусе Лефорта, полковник Фирс Аничков, в походе на Азов в 1696 году.

Дедушка подолгу беседывал с внуками, охотно удовлетворял их любознательность и обычно заканчивал беседу наставлениями, как надо служить и быть преданным престолу и отечеству.

Жоржику исполнилось 10 лет... Подошел август, а с ним и встал вопрос, кто повезет его в корпус. Отец был на войне — в Маньчжурии, мама последний месяц носила последыша, братья Димитрий и Борис, кадеты 3-го и 4-го классов, охотились на уток в имении дяди Вани, и любимого племяша повезла в корпус тетя Леля, только что вернувшаяся из за границы. Жоржик с нетерпением ждал отъезда в корпус. Он уже три года с завистью смотрел на красивую форму старших братьев: на синий погон, задорную фуражку с лаковым козырьком, упивался их рассказами о корпусной жизни, традициях, шалостях, но когда наступил момент расставания с мамой, когда он понял, что мама остается в Саратове, что уже завтра он не увидит своей мамы, он прижался к ней и зарыдал. Больших трудов

стоило не уговорить, а оттянуть его от мамы и усадить на извозчика. Испуганными, влажными от слез глазами он смотрел в окно, у которого, вся в слезах, стояла мама.

Всю дорогу до пристани Самолет тетя Леля, сама едва сдерживая подступившие слезы, гладила племянника по кудрявой, разгоряченной голове, прижимая к себе, и маленький Жоржик постепенно затих, только хрустальные слезки остались на щеках.

Розовый «Ломоносов», блестя начищенной медью, нетерпеливо дышал разгоряченным паром... Капитан Батманов, друг семьи Брагиных, нервно отыскивал в пестрой толпе провожающих опаздывающих Ольгу Петровну и Жоржика... Третий хриплый свисток... Убраны сходни... Жоржик на капитанском мостике... С одной стороны тетя Леля, с другой крепкий, загорелый капитан Батманов.

— Отдай чалки!.. задний ход. . стоп... передний...

Пеной закипела внизу вода... «Ломоносов» медленно, с достоинством плывет на фарватер, лопасти колес чаще шлепают по воде, от кормы уходит пенистый след... вокруг спокойные воды Волги...

.

Узкий зал 3-й роты кишел, как муравейник. У огромного стола, покрытого зеленым сукном, столпились одетые в самые разнообразные костюмы испуганные новички: тут были белые и синие

матроски, вычурные казакины, русские рубахи с шароварами, длинные на выпуск брюки с курточками того же цвета. Оробевшие от непривычной обстановки, дети жались к своим родителям и родственникам. Военные и штатские сюртуки, поддевки, костюмы, изящные и безвкусные дамские туалеты, бабушкины салопы дополняли разноцветную ярмарку людской одежды. Однообразием и строгостью дышала форма воспитателей корпуса.

Прием в корпус не представлял из себя ничего сложного. По уже ранее заготовленным спискам поверяли имя и фамилию новичка, его возраст, день и год рождения и передавали на несложный медицинский осмотр, обычно кончавшийся заключительным словом старшего врача — «годен».

Очередной дядька вел в умывалку группу в 5 человек, где виртуозы парикмахеры безжалостно, под машинку, снимали с испуганных голов черные, каштановые, рыжие, русые кудри, давая первый аккорд казенного однообразия. Следующим этапом, окончательно закрепляющим это однообразие, и рождающим в жизнь нового кадета — было обмундирование. Новичков вели в ротный цейгхауз, где дядьки раздевали детей до гола и вместе с каптенармусом обряжали их в казенное белье и третьего срока, аккуратно починенное, но старое обмундирование. По началу вновь рожденные кадеты имели чрезвычайно жалкий вид. Наскоро пригнанная форма сидела

на них мешковато. У одного были очень короткие брюки у другого слишком длинные, у одного мундир вздувался пузырем на груди у другого на спине. Более тщательная пригонка обмундирования делалась впоследствии самим воспитателем.

Испуганно растерянных новичков с большим трудом построили по ранжиру и разделили на два отделения. Жоржик попал в первое отделение, принятое полковником Димитрием Васильевичем Гусевым. После короткого прощания с рыдающими родственниками кадет развели по классам, рассадили по партам. Командир роты, тучный, обрюзгший полковник Евсюков, слегка заикаясь, сказал малышам первое командирское слово о необходимости хорошо учиться и быть хорошего поведения. Его сменил маленький, словно игрушечный, директор корпуса генерал-майор Якубович, в несколько других выражениях повторивший сказанное командиром роты, только в его словах дети почувствовали какую то теплоту, а в добрых глазах далекую ласку, так нехватавшую им сейчас.

Для Жоржика открылась новая страница жизни, скульпторы чести приступили к работе, старички, законодатели и хранители кадетской жизни и традиций, высматривали свои жертвы.

СКУЛЬПТОРЫ И СТАТУИ

Еще со времен 80-х годов прошлого столетия между обществом русских интеллигентов, начавших шалить либеральными идеями, и обществом военным, не воспринявшим этих идей, обозначилась глубокая трещина, которая после неудачной японской войны и революции 1905 года приняла форму пропасти. Два брата, рожденные и воспитанные одной матерью, говорили на разных языках. Это непонимание одних другими нашло отражение в отечественной литературе и поэзии, не пожалевших красок и слов для отрицательного изображения военщины, и, с преступным интеллигентским предубеждением, умышленно умалчивающих о светлых и хороших ее сторонах.

Но кто виноват, что волчонок дичится своей матери? Кто виноват, что он отходит от нее? Злобствует на нее? Конечно сама мать... Волченка и того можно приручить, но русская интеллигенция, долженствовавшая по отношению маленького военного общества играть роль матери, не нашла в своем любвеобильном сердце теплых чувств по отношению к нему, а в богатом

русском лексиконе хороших слов. Она дышала открытой ненавистью к «военщине», как к символу национального патриотизма и беззаветной преданности Отечеству и Престолу. Ее тлетворное влияние быстро сказалось на восприимчивой молодежи, легко пошедшей за апостолами социалистических учений, и быстро дошедшей до богоотступничества и звериного опустошения своих душ. И только молодежь, воспитывающаяся в кадетских корпусах и военных училищах, стояла в стороне от лживых вероучений, царивших в обществе, и жила своей здоровой, простодушной и чистой жизнью крепкими корнями которой были: религиозность, семейность, честь и преданность Родине. И когда для России грянул час ужасной смуты, эта молодежь оказалась более волевой и стойкой, эта молодежь мученически умирала за светлые идеалы своего отечества и во всемирном рассеянии сохранила эти идеалы...

... В корпус привезли сырой материал детских тел, душ и мозга. Скульпторы приступили к работе. Исключительно тяжелая задача в семь лет из детских неповинующихся душ, часто таящих в себе пагубную наследственность к дурным наклонностям, из разного мозга, несущего в мир гениальность и порок, талантливость и бездарность, разум и глупость, порядочность и преступность, создать статуи чести. Создать статуи, в живые души которых на всю жизнь вдохнуть основы духовного и нравственного порядка:

строгость к себе, порядочность, любовь к правде и до высшей меры развить чувства долга перед Родиной. Создать статуи уходящие из жизни с честным лицом.

Руководящими органами скульпторов были: воспитательский совет, собирающийся каждые два месяца под председательством директора корпуса, и педагогический под председательством инспектора. Первый касался только изучения детских натур и их морально-нравственного воспитания, второй ведал только образованием юношества и поднятием общего уровня их знаний. Истинными скульпторами, создававшими статуи, были лица духовного звания, вкладывающие в мятущиеся души детей начала христианства, религиозности и веры и конечно воспитатели. Получив на руки 50—60 детских душ, воспитатель в течении семи долгих лет ежедневно изучал сначала детские потом юношеские натуры, по разному воспринимавшие, по разному реагирующие на его работу. Он изучал малейшие изгибы, извилины души каждого, а их было так много, и все они были разные, как дни недели не похожие друг на друга.

Он инстинктом находил в этих душах пробуждение хороших начал и всячески старался укрепить их корни, тем же инстинктом он чувствовал в этих мятущихся душах уклоны к порокам и беспощадно боролся с ними. Как пахарь бросает семена на вспаханные пашни, он бросал семена правды на молодые нивы детских душ и радовал-

ся, когда они зацветали прекрасными цветами, рождавшими мужество сказать правду, какая бы горькая она ни была. Это было не легким делом, ибо на пути правды всегда стояло противодействующее начало развитого до предела чувства товарищества, всегда готового принять на себя, целым классом и даже ротой понести суровое наказание за поступок одного из товарищей. Но это чувство товарищества в конечном результате и рождало у виновного мужество сказать правду, сознаться в своем поступке. Скульптор давно уже знал виновного. Он узнал его по виновато бегающим глазам, по мятущейся между правдой и ложью душе, но он шагу не сделал, чтобы понудить виновного к сознанию. Виновный сам сознавался, а скульптор резцом правды и прощения смело резал в душе раскаявшегося черты личной порядочности. Через семь лет тяжелой творческой работы, охваченный грустью скульптор расставался с созданными им статуями. Они разлетались по всей России, и их смелый полет в жизнь дышал духовной чистотой и безгранно развитым чувством долга перед Родиной. Скоро они сами становились скульпторами, скульпторами русского солдата, вдыхая в их честные крестьянские души начала воинской доблести и чести.

Когда для Родины наступали тяжкие дни испытаний, войны, разрухи, они, оставляя семьи, первыми вставали на защиту родных рубежей, национальной чести и гордости России. Подвигами личной храбрости они вплетали новые, свежие

цветы чести в венец русской армии и флота. Убежденные сединами, постаревшие, скульпторы с радостью говорили: — «Это мой кадет... моего выпуска»...

Так говорили про первого георгиевского кавалера из Симбирских кадет, Мудара Кайсимовича Анзорова, корнета Северского Драгунского полка, дерзкой атакой своего эскадрона опрокинувшего и обратившего в бегство стойкую японскую пехоту.

Так говорили про легендарного поручика Владимира Ленивцева, с мужеством и непревзойденным спокойствием отбившего огнем своей батареи последовательные атаки японской пехоты и выигравшего время для подхода наших резервов.

Так говорили про маленького, невзрачного, лысого Сашу Купрюхина, поручика 248-го Осташевского батальона, с группой охотников гулявшего в тылу у австрийцев, как у себя дома, и вошедшего в военную литературу, как образец разумного, дельного и храбрейшего офицера дивизии.

.

— Роман Густавович! Роман Густавович! Идите сюда... скорее... читайте...

— Что такое?

— Читайте... Ягубов... Саша Ягубов... Георгиевский кавалер... Ну кто мог подумать... Скромница, тихоня, красная девица... воды не замутит и вдруг Георгиевский кавалер...

— Война рождает героев, дорогой Митрофан Васильевич... А может быть это какойнибудь

другой Ягубов?.. Не вашего выпуска?

— Как не моего... Читайте... Александр Георгиевич Ягубов... конечно он... Выпуска 1901-го года... Вот тебе и скромница...

— Личная скромность, дорогой Митрофан Васильевич, залог подвига, — спокойно ответил Роман Густавович, откладывая в сторону Русский Инвалид.

— Нет, что вы ни говорите, но в подвиге личной храбрости есть что то непостижимое для человеческого разума. Вот вы только что сказали, что скромность Ягубова явилась залогом его подвига... Да?.. А ваш генерал-лейтенант Репьев? В его чине, в его возрасте, когда человек уже тяжелеет, когда уже нет безшабашного дерзания молодости и вдруг подвиг личной храбрости... понимаете... личной...

— О... Михаил Иванович Репьев это моя гордость... Вот как помню его еще кадетом, весь сказался в своем подвиге... Смышленный, решительный, храбрый, дерзкий...

— А Сережа Богаевский, Татарского уланского полка? Вы помните его?

— Ну как не помнить... Первый шалун... Намучился с ним полковник Руссэт... С грехом пополам вышел в Артиллерийское училище... Там поставил какой то номер... Перевели в Тверское Кавалерийское... а финал Георгиевский крест... Не понимаю...

— Личная храбрость, дорогой Митрофан Васильевич... личная храбрость.

— А Леонид Байцуров 81-го Апшеронского Императрицы Екатерины Великой полка? Я до сих пор не могу себе простить, что как то с горяча, не разобрав дела, посадил его в карцер... Потом Прибылович сознался... Кого посадил?... Кого? Будущего орденового кавалера...

— Я часто думаю, Роман Густавович, а сколько не дошло до подвига и умерло смертью храбрых... И все наши Симбирцы... наши дети, которых мы воспитали, наша честь...

Так говорили два старых скульптора, стоявших на грани ухода в отставку, и гордым счастьем лучились их старческие глаза. Они знали, что с их уходом какие то новые скульпторы будут лепить новые статуи чести, но они не предполагали, что судьба сделает их свидетелем величайших подвигов самих кадет...

Грянул час ужасной русской смуты, и яркими огнями алмазов засверкали подвиги детей-кадет...

Никто не прочтет в Русском Инвалиде имен пяти кадет, расстрелянных в лесу Поливны, расстрелянных только за то, что они кадеты, за то, что не отдали этой бессмысленной смуте своей чести...

Никто не узнает про подвиг Володи и Сережи, с риском для жизни спасших знамя корпуса и где то нашедших себе скромную могилу — «неизвестного кадета».

Только Родина знает, где эта могила... Только солище Родины пригревает ее, трава Родины украшает ее зеленью...

Перед ней не склоняются головы коронованных особ, полководцев, мировых политиканов... На ней не теплится огонь неугасимой лампы.... Никто не возлагает на нее венков... Они не нужны... Могила всегда цветет вечными, прекрасными цветами кадетской памяти, и «Жизнь бесконечная» никогда не умрет на этой честной могиле.

ПЕРВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Первые дни в корпусе тянулись медленно, скучно и однообразно, несмотря на новизну обстановки. В один момент куда-то ушла ласка мамы, забота тети Лели, бабушки, куда то испарилась маленькая церковь на Московской улице, в которую каждое утро Жоржик ходил молиться за папу, потому что он на войне, испарился татарин деньщик Султан, сопровождавший его в церковь, ушла, как будто умерла, рябенная курочка «Кука», часами просиживающая на его плече, целуя его шею, глаза, волосы, куда то убежал рыжий сеттэр «Фебка», постоянный участник детских игр. Маленькому, впечатлительному Жоржику временами казалось, что он одинокий, всеми забытый ребенок, отчего казенная обстановка корпуса, уложенная в рамки часов и даже минут, была для него тягостным испытанием. Временами новизна этой обстановки несколько отвлекала его. В свободное время он ходил по ротному залу, рассматривая незнакомые портреты и картины из военной жизни, повешенные в простенках окон

и дверей. Он осторожно присматривался к одноклассникам, словно выбирал будущих друзей жизни. Сентиментальная натура Жоржика, в своей маленькой жизни, уже давно разделила детей на живых и мертвых. Дети живые это те, которые любят правду, природу, лес, цветы, животных. Дети мертвые, которые боятся правды, не чувствуют природы. В детском понимании Жоржика были еще средние дети, их было очень много, и под тем или другим влиянием они делались или мертвыми, или живыми.

День проходил легче, но когда наступала ночь, когда в спальне умирал последний детский шум, когда сотня однообразно подстриженных голов сковывалась безмятежным сном, Жоржика охватывало чувство горького одиночества. Все впечатления дня испарялись как туман над рекой. Неудержимыми ручьями текли слезы на казенную жесткую подушку, с беспощадной ясностью воскрешая перед глазами картины далекого родного дома...

Съехались старички, кадеты пробывшие в корпусе год, а второгодники, за хорошие успехи в науках — два, и жизнь 3-й роты вступила в фазу короткого, но бешеного по темпу, периода «товарообмена», или первого знакомства с глупыми неопытными новичками. Пользуясь простодушием и доверием новичков, старички искусным обманом выменивали у них перочинные ножи, цепочки, перья, записные книжки, бабушкины пироги и сласти.

Радостные новички становились обладателями пузырьков с жидкостью, которая в руках старичка окрашивала белую бумагу в красный цвет, а в руках новичка оказывалась простой водой, перочинных ножей, распадавшихся при первом употреблении на составные части, фонариков быстро отказывающихся гореть . . . Обманутые новички робко вступали в бесплодные переговоры со старичками и, стараясь вернуть потерянные вещи, жаловались воспитателю, ротному командиру, дядькам. Для них наступал период детского самосуда. Ябедничество, в какой бы форме оно не выражалось, считалось, так же как воровство, тягчайшим преступлением, с которым прежде всего боролись сами кадеты и боролись жестокими мерами. Улучали минуту, накрывали виновного шинелью и попросту избивали. Никакие требования воспитателей, ротного командира и даже директора корпуса о сознании виновных результатов не давали. Наказывался весь 2-й класс и легко переносил суровое наказание, считая, что с вором или предателем можно и нужно бороться только суровыми мерами.

Жизнь новичков помимо непривычной казенной обстановки каждый день, час, минуту была под контролем старичков, считавших себя какой-то высшей кастой. Они направляли жизнь испуганных детских натур по определенному руслу, скрытому от администрации, они, может быть порою не совсем разумными и жестокими мерами, выковывали какую то своеобразную этику, свои

нравы, вкореняли кадетские традиции, и свой собственный мальчишеский мир порою оказывался сильнее распоряжений администрации. Испуганные новички, естественно, старались найти друзей в своей обиженной среде.

Жоржик в раздумии стоял в простенке двух окон. К нему застенчиво подошел одноклассник, Коля Упорников, блондин с голубыми, грустными глазами.

— Давай дружить, у меня папа полковник... он на войне... он храбрый...

— А ты любишь лес? — спросил Жоржик.

— Люблю... там разбойники... я не боюсь... я казак...

Новые друзья пожали друг другу руки, когда услышали сзади нерешительный голос Володи Лисичкина, маленького щуплого одноклассника:

— Я тоже хочу дружить, у меня папа тоже полковник...

Новые друзья недоверчиво смотрели на худенького Володю, но после небольшого раздумия приняли его, однако забраковали четвертого Колю Евсюкова и лишь только потому, что он был сыном командира роты. Впоследствии, когда Коля вместе с ними травил собственного отца и кричал ему вслед — «тюк... тюк... тюк», они его приняли.

Очень скоро, через месяц классных занятий, новички разделились на более крупные группы. Способные, которым легко давались все науки, потянулись к способным, лентяи к лентяям, зуб-

рилы к зубрилам. Постепенно привыкли к казенной жизни, к шестичасовому подъему, звуку трубы, треску барабана, к кадетской котлете, к кружке чаю, к французской однообразной булке. Заманчивой сладостью манил первый отпускной день. Полковник Гусев взял Жоржика к себе в отпуск.

Первое, что произвело впечатление на Жоржика в ротном зале, был большой образ Святого Великомученика и Победоносца Георгия на вздыбленной серой лошади, разящего копьем змия. Внизу образа церковно-славянской прописью большими золотыми буквами был написан тропарь. Жоржик был религиозным мальчиком. Может быть не глубокую, но чистую, детскую веру воспитали в нем: мама, дед, бабушка, да старушка няня Неклюдовна, водившая его по разным церквам Саратова и Москвы.

Жоржик, по причине незнания им церковно-славянской азбуки, мучился тем, что не мог прочесть и понять смысла написанного тропаря.

Как то после одного из уроков Закона Божия он в ротном зале догнал уходящего отца дьякона.

— Отец дьякон! .. Можно мне вас спросить? .. Я не понимаю, что написано под ротным образом, — застенчиво, краснея спросил Жоржик.

Отец дьякон обнял худенькие плечи еще мало знакомого ему кадета, и они подошли к образу. Любопытная детвора обступила их. Опершись на массивную дубовую ограду, отец дьякон в простых и ясных словах объяснил ребенку смысл тропаря,

почему воин Георгий был причислен к лику святых, и почему высшей наградой за храбрость является георгиевский крест.

Жоржик внимательно слушал каждое слово, глядя то в лучистые глаза победоносца Георгия, то в ласковые, теплые глаза отца дьякона, который в черной длинной рясе представлялся ему тоже святым, только без лошади.

— А как тебя зовут? — глядя кадета по голове спросил отец дьякон.

— Жоржик... Жоржик Брагин...

— Георгий?.. Так помимо всего это твой Ангел хранитель... Твой небесный покровитель... А ты знаешь его жизнь?

— Нет, — застенчиво пробормотал Жоржик.

— Ну хорошо, я какнибудь тебе расскажу... сейчас времени нет, — закончил отец дьякон, на прощание ласково прижимая к себе Жоржика.

С каждым следующим днем маленький Жоржик все больше и больше влюблялся в своего небесного покровителя. Он уже наизусть знал тропарь, и за утренней и вечерней молитвами в сиплом и неуверенном хоре кадет, его голос выделялся, как колокольчик. Он ежедневно навещал образ. Особенно любил навещать вечером, когда перед сном утихало жужжание двухсотголового пчельника, когда полумрак контрольных ламп тускло освещал ротный зал, а перед образом спокойным синим огнем теплилась одинокая лампада. Он восторженно впивался глазами в кроткий и вместе с тем волевой лик Георгия, в горящие

нервным блеском глаза, в меткий взлет копья, в красную на отлете мантию, в тяжелый шлем, но больше и дольше всего его глаза останавливались на вздыбленной лошади. В своем детском уме он уже твердо решил, что по окончании корпуса, он обязательно выйдет в кавалерию, и что у него будет такая же лошадь, как у Георгия Победоносца.

Отец дьякон очевидно просто забыл данное им обещание, а Жоржик, по скромности, стеснялся напомнить о нем, и так текли дни и недели, однако скоро представился счастливый случай. Воспитатель Жоржика, полковник Димитрий Васильевич Гусев, в день Дмитрия Солунского, который в этом году упал на воскресение, праздновал день своего Ангела. В просторной столовой после молебна, отслуженного настоятелем корпусной церкви, в сослужении с отцом дьяконом, все сели за именинный стол, уставленный закусками и пышущими жаром пирогами. Могучий батюшка ел много и сочно, пил мало и то только красное церковное вино. За столом было патриархально весело. Батюшка, отличный рассказчик, картинно передавал немногочисленным слушателям эпизоды и курьезы, с которыми ему пришлось встретиться при обращении в православие северных народностей, где он, одно время, был миссионером.

Стих легкий смех после очередного рассказа... Батюшка мясистой рукой поднял снизу пушистую бороду, опустил в нее лицо, закрыл глаза, словно собирал в памяти мысли для нового

рассказа, как вдруг воздух прорезал нерешительный, но звонкий голос Жоржика:

— Батюшка, расскажите про жизнь Георгия Победоносца.

Батюшка от неожиданности отпустил бороду, глазами отыскал потонувшего на стуле кадета, и ласково глядя на него поверх очков, спросил:

— А тебе зачем?

— Он Георгий... Я давно обещал рассказать ему, да забыл, — виновато произнес чуть чуть охмелевший отец дьякон.

— Похвально, отче Георгие... пойдем в твою комнату... Я расскажу тебе, — сказал батюшка, вытирая салфеткой сочные губы, и подымая из за стола могучее тело.

Они вошли в комнату. Батюшка сел на кровать, посадил Жоржика на колени и правой рукой прижал к себе. Густо малиновая рипсовая ряса, отдающая ароматом, не то ладана, не то пахули, приятно холодила разгоряченное от волнения лицо Жоржика. Камни наперстного креста горели разноцветными огнями.

— Возьмись за крест, закрой глаза и слушай, — после паузы, тихо сказал отец Михаил.

«В начале 4-го столетия, во времена царствования Римского Императора Диоклитиана, при его дворе был молодой военачальник Георгий. Император скоро заметил его, оценил и полюбил за красоту и мужество. В 20 лет Георгий уже имел чин военного трибуна и много отличий за личную храбрость. Император был

язычником-идолопоклонником и отличался особой жестокостью и нетерпимостью к христианам. В его царствование гонения на невинных христиан приняли ужасные размеры. Но этого было мало жестокому императору. Однажды, в городе Никомидии, он собрал совет приближенных и военачальников для решения вопроса, каким способом истребить христиан. Узнав об этом, Георгий поспешил на совет. Прибыв туда, он, перед всем собранием, объявил себя христианином и обращаясь к императору громко сказал: «Долго ли тебе, Царь, и вам, князья, советники и военачальники, совершать злые дела под предлогом закона? Долго ли будете преследовать невинных христиан, которые никого не обижают, а, наоборот, подают пример благочестивой жизни? Вы заблуждаетесь, поклоняясь идолам... Иисус Христос есть истинный Бог.»

Обезумевший от гнева, Император лишил Георгия всех воинских отличий и, как христианина, заточил в темницу, где его подвергали страшным пыткам. Несколько раз Георгия водили к императору на допрос. Грозный повелитель унижался перед Георгием, предлагал ему новые почести, обещал вернуть все отличия, если он оставит христианство и принесет жертву идолу. Георгий был непоколебим, продолжал славить Христа, а на угрозы новых пыток, ответил императору:

«Неужели ты думаешь, царь, что эти ничтожные страдания отвлекут меня от веры

моей? Скорее ты устанешь мучить меня, нежели я терпеть мучения.»

Новые истязания не сломили Георгия. Он переносил их с необыкновенной стойкостью, молился за гонимых христиан, и во время страданий за Христа, совершил много чудес. Батюшка остановился... Тишину комнаты нарушила короткая трель канарейки, как бы возвещавшей окончание теплой беседы. Жоржик поднял на батюшку благодарные глаза.

— Вот теперь, отче Георгие, тебе будут понятны и слова тропаря твоему небесному защитнику:

«Яко пленных свободитель, и нищих защититель,
Немоствующих врач, Царей поборниче,
Победоносче, Великомучениче Георгие,
Моли Христа Бога спастися душам нашим.»

Батюшка встал, поцеловал Жоржика в висок и тепло сказал: «Хороший мальчик... Вот подрастешь, возьму тебя прислуживать в алтарь... Хочешь?»

Они вошли в столовую, где уже был накрыт чайный стол.

ЗВЕРИ

Быстро и сумбурно прошел период первых впечатлений, и Жоржика с его новыми друзьями со всех сторон обступила казенная, рассчитанная не только по часам, но и по минутам, жизнь. Утреннюю ласку мамы, ее слова, голос, заменил резкий звук трубы или треск барабана, бьющего утреннюю зорю, и почему-то обязательно в шесть часов утра, когда Жоржик досматривал сладкие сны далекого родного дома... Просторная умывалка с подвесными блестящими кранами, множество детских голых тел, неожиданные брызги со всех сторон, шум, окрики воспитателя, быстрое одевание в еще непривычную форму... Утренний осмотр воспитателей, мелкие наказания не аккуратным... Молитва перед ротным образом. Сиплым хором детских голосов поют «Отче наш» и «Тропарь».

Ежедневная, утомительная речь командира роты, полковника Евсюкова. Он говорит нудно, тягуче, как будто заикается, отчего смысл сказанных им слов, может быть очень разумных и хо-

роших, не доходит до юных сердец кадет, лица которых отражают скуку и тоску.

Столовая... Опять молитва, а за ней кружка горячего сладкого чаю, половина французской булки, а для слабосильных холодная котлета... вкусно... аппетитно...

Утренняя прогулка строем, четыре больших квартала, окаймляющих корпус, и чехарда уроков и перемен. И так каждый день. Заманчивыми и радостными кажутся отпускные дни, возможность идти по улицам незнакомого города. а для этого надо уметь носить форму и отдавать честь офицерам, и малыши под руководством старичков старательно проходят первоначальный и обязательный курс кадетского внешнего лоска. Начались уроки, а с ними и первое знакомство с преподавателями. По кадетскому беспроволочному телеграфу малыши уже знали, что вся администрация корпуса и все преподаватели — это звери, которых надо бояться. Звери эти в зависимости от их строгости и требовательности разделялись на категории домашних и хищных. Почти все звери имели свои клички, которыми их травили в удобные моменты кадетской жизни. и с которыми они входили в корпусную поэзию нескончаемой и всегда новой «звериады».

Нельзя сказать, что эти клички всегда блистали разноцветными огнями остроумия, так подполковник Манучаров и капитан Аноев имели кличку — «армяшки», и лишь только потому, что судьбе было угодно родить их армянами. Под-

полковник Никольский, мягкий, болезненный, безгранно любящий кадет, имел кличку — «черепа», и лишь только потому, что его маленькая голова с впалыми щеками, с глубокими глазными впадинами, действительно напоминала череп. Но были клички, которые поражали необыкновенной находчивостью и остроумием детского пытливого ума. Подполковник Владимир Федорович Соловьев — «петух». Красивый мужчина, с породистой головой, с всегда аккуратно зачесанными назад каштановыми волосами, с острым взглядом, с заостренным носом и всегда румяными щеками, действительно производил полное впечатление породистого краснорожего кахетинца, заметившего шалость кадет, или встретившего рябенькую, застенчивую курочку, вот вот зачертит по земле крылом и звонким петушиным голосом прокричит... кот... кот... кудах!!!

Командир 2-й роты полковник Горизонтов — «конь». Требовательный, строгий, одинаково справедливый ко всем, он в своей человеческой оболочке определенно носил какие-то конские задатки. Он всегда напоминал начищенного до предельного блеска эскадронного коня, с гордо поднятой головой ожидающего звука боевой трубы. Он слышал звук этой трубы с остатками корпуса сначала в снегах Уральских степей и в холодном Иркутске, куда привел поредевшие остатки Симбирского Кадетского корпуса. На руках горсточки кадет больной, постаревший, честный конь Симбирского Корпуса — полковник Горизонтов ушел из жизни.

Подполковник Евгений Евгениевич Стеженский — «самовар». Огромного роста, болезненно располневший, флегматичный, добрый, как большинство полных людей, он, благодаря непомерного размера живота, действительно напоминал начищенный тульский пузатый самовар, который, однако, несмотря на все ухищрения кадет, никогда не был в состоянии кипения.

Командир 3-ей роты полковник Владимир Михайлович Евсюков — «тюк». Обрюзгший, отяжелевший, рыхлый полковник Евсюков доживал последние месяца в корпусе и больше интересовался Русским Инвалидом, в котором тщательно искал для себя выслугу лет на пенсию, чем воспитанием кадет. Сложное дело воспитания кадет он возложил на плечи воспитателей, а сам ограничился ежедневными, тягучими и многословными нотациями перед развернутым фронтом роты. Он любил кадет, но за 21 год службы в корпусе устал от них. Он немного заикался и, скрывая перед кадетами этот недостаток, говорил медленно и неторопливо. Он наказывал кадет только в моменты гнева или нервности, причем, отстаивая авторитет власти ротного командира, наказывал круто, лишь только для того, чтобы потом легче было простить.

... В зале 3-ей роты шум, беготня. Первоклассник Мельгунов, опустив вниз голову, размахивая руками, несется по паркету, словно на коньках... Хлоп... и головой прямо в живот вошедшего в роту полковника Евсюкова.

— Кааа... как... тво... тво... я... фа...
фами... лия? — сильно заикаясь спрашивает
ротный командир.

— Мель... мель... гу... нов, — тяжело ды-
ша отвечает кадет.

— Бол... бол... ван... ка... как... ты
сме... ешь пе... пере... драз... ни.. вать...
рот... ротного... ко.. коман... дира... Ма..
марш... в кар... карцер...

Раба Божьего Мельгунова запирают в кар-
цер. Разгневанный командир роты ходит по длин-
ному залу, ожидая полковника Гусева, воспита-
теля арестованного. После взаимных объяснений
выясняется, что Мельгунов тоже заика.

«Паралич» — это сокращенное кадетами имя
и отчество единственного в корпусе преподавате-
ля рисования, художника академика Павла Ильи-
ча Пузыревского. Павел Ильич был незаурядной
личностью, в которой мирно уживались ориги-
нальные противоречия жизни. Физически он
представлял из себя квадрат человеческого тела.
Маленький, коренастый, плотный он отличался
необыкновенной физической силой. Огромная го-
лова была покрыта седеющими путанными воло-
сами, кончик небольшого прямого носа был сильно
повернут вправо, мякоть большого пальца правой
руки была вырвана и когда-то зашита хирургом.
Этим пальцем Павел Ильич ежеминутно поглажи-
вал кончик носа, как бы стараясь выпрямить его.
Духовно он был художник с утонченной душой,
с дерзким полетом фантазии, влюбленный в свое

творчество. Однако это не мешало ему быть непревзойденным вралем. Среди обывателей Симбирска ходила поговорка — «врет, как Пузыревский».

Павел Ильич врал сочно, красиво, безгранично, — врал, как большой художник слова. Почему врал, он наверное и сам не знал. Эту слабость преподавателя, конечно, учли кадеты и в широком масштабе пользовали ее. Низшим баллом, который ставил Павел Ильич за художественные произведения кадет, был 10, и не мудрено, ибо этот балл он фактически ставил самому себе, так как все работы по рисованию исполнялись им самим во время припадков очередного вранья. Сидит класс и с гипсового бюста старательно срисовывает голову Венеры Милосской. Подойдет Павел Ильич.

— Что пишете, милейший?

— Голову Венеры Милосской, Паралич...

— А где же благородство античных линий? Это не Венера, а какая-то рязанская баба... это не античный прямой нос, а картошка из Акмолинской области, — спокойно говорил Павел Ильич, собственным карандашом облагораживая черты рязанской бабы и акмолинской картошки.

— Паралич, а что это у вас с пальцем?

— Это, батенька, было давно... очень давно... Был я тогда в Петербурге слушателем академии... Надо сказать, что я отличался, да и теперь отличаюсь, необыкновенной физической силой... Со мной едва ли мог состязаться покой-

ный Император Александр 3-ий... Иду я как-то вечером по Невскому... кругом сиреневая мгла и колыхающееся море голов нарядной столичной толпы... По торцовой мостовой в ту и другую сторону несутся нарядные экипажи, извозчики, лихачи... Вдруг, близко сзади себя я слышу конский топот... момент и тройка серых в яблоках обезумевших коней с развевающимися гривами и хвостами мчит придворную карету... Через стекло дверцы мелькнуло бледное испуганное лицо великой княгини Марии Павловны... Не размышляя ни секунды, я бросился вперед, рукой схватился за колесо и напруг все свои силы. Злобные кони остановились, как вкопанные...

— Спасибо... Как ваша фамилия? — кротко спросила пришедшая в себя великая княгиня.

— Пузыревский, Павел Ильич...

— Боже мой, вы ранены... вы весь в крови...

— Пустяки, Ваше Величество...

— Нет не пустяки... Сейчас же садитесь в карету... Я отвезу вас в морской госпиталь...

Павел Ильич последним взглядом окинул молчаливый бюст Венеры Милосской, скромно поставил в правом углу планшета цифру 10 и перешел к следующей парте. Там повторилась та же история, с той лишь разницей, что великокняжескую карету несла тройка не серых в яблоках обезумевших коней, а вороных, и в карете сидела не великая княгиня Мария Павловна, а княжна Татьяна Константиновна, которая и увезла раненого Пузыревского в госпиталь Лейб-гвардии Семеновского полка.

«Одноглазый циклоп» — преподаватель немецкого языка Адольф Карлович Зульке. Пастор лютеранской церкви, великолепный органист, хороший педагог, высоченный и не в меру располневший от пива и жирной пищи, Адольф Карлович пользовался общим уважением, как в городе, так и в корпусе. Судьбе однако было угодно обидеть добродушного Адольфа Карловича. Он был почти слепой. На маленьком немецком носу постоянно сидели огромные роговые очки, причем правое стекло было черное и, как говорили, прикрывало глазную впадину отсутствующего правого глаза, а левое, сильно увеличивающее, обыкновенное. Свою огромную фигуру даже в ротном пустом зале он нес как-то боязливо бочком, словно боялся наткнуться на чтонибудь и упасть. Ни одного кадета в лицо он, конечно, не знал и в редких экстренных случаях, за вызванного отвечать урок Макаева, отвечал Прибылович, за Джаврова — Иванов. Кадеты быстро учили этот колоссальный недостаток преподавателя и все массовые, незлобные шалости проводились ими на уроках Адольфа Карловича.

Его неоднократно упрашивали сняться в группе кадет. Адольф Карлович принимал величественный вид, исполнял указания шалуна фотографа повернуть голову вправо, немного вверх, влево, но карточек никогда не получил, ибо снимали его, чаще всего, мусорным ящиком.

Конечной целью всех шалостей было желание заставить Адольфа Карловича раскрыть классный журнал и сделать в нем запись.

По положению закрытых военно-учебных заведений преподаватели иностранных языков должны были знать русский язык, и все записи о проступках на уроках должны были записываться в классный журнал на русском языке. Адольф Карлович был необыкновенным мастером этих записей, которые ставили в тупик воспитателя и всегда оставляли безнаказанными кадет.

Спокойно пройдет половина урока, и вдруг с задних парт, чуть слышно, слышится мотив Стеньки Разина. Поют без слов с закрытыми ртами. До предела музыкальный Адольф Карлович просит класс прекратить пение, на что ему со всех сторон заявляют, что это пенье в соседнем классе... батюшка болен... урока нет... и снова продолжают петь.

Финал — журнальная запись... «В классе явно слышалось пенье про разбойника Стеньку Разина, потонувшего персидскую княжну, а по распросам оказалось, что это не у нас, а в соседнем классе, где болен батюшка Михаил.»

Май... с внутреннего плаца в открытые окна тянется теплый аромат весны... в классе тишина... все со вниманием слушают лекцию Адольфа Карловича... В окно влетает сумасшедший воробей... Шум... крики... в воздух летят тетради, книги... Испуганная птица кружит под потолком... хэр Зульке призывает к порядку, стучит указкой... Радостный воробей вылетел на свободу через то же окно, через которое влетел

в класс . . . Полная тишина . . . Расспросы . . . журнальная запись . . . «Птичка синичка влетела в окно растворившись. Со смехом летала по классу между тетрадей и книг, пока не нашла свободную жизнь на плацу корпуса. Я возмущался, несколько раз уходил из себя, и после просьбы о протесте, класс вел себя благосклонно тихо.»

ВЕЛИКИЙ ПОСТ

Конец февраля... Зима идет на убыль... Чаще перепадают солнечные дни, тогда капает с крыш, с хрустальных сосулек, и конским пометом чернеют, пригретые солнцем, дороги улиц. Если день пасмурный, из серой мути неба падает спокойный, пушистый, мокрый снег... Все чаще и чаще воздух дышит ароматом приближающейся весны. Прилетели скворцы... испуганно торопливо устраивают жилища, оглашая воздух нерешительным, застенчивым чириканием. По Тихвинскому взвозу, в клубах пара, мокрые кони с трудом тянут в гору розвальни, груженные голубым, прозрачным льдом. С городских церквей утром и вечером слышится, как святая молитва, призывной колокольный звон: великопостный, грустный, словно говорящий — «покайтесь!.. покайтесь!»

Постными неделями корпуса, как и вообще всех закрытых учебных заведений, были: первая, крестопоклонная и страстная. На этих неделях кадет кормили вполне доброкачественной, вкус-

ной, но постной пищей. Очевидно в силу какой-то давней неписанной традиции, кадеты всех трех рот искренне ненавидели постные супы, в особенности гороховый, и рыбные котлеты, которые, почему-то назывались — «резиновыми». Эти три недели были сплошной мукой для добродушного и любящего кадет эконома корпуса Федора Алексеевича Дивногорского. Когда ослабевало воспитательское око, его безжалостно травили, награждали эпитетами: «вор», «жулик», а иногда, в виде протеста, просто отказывались есть его стряпню. В случаях массового организованного протеста, которые правда бывали редко, и чаще всего проводились кадетами строевой роты, дело доходило до командира роты и даже до директора корпуса, который ходил от стола к столу, старательно утешивал кадет, с видимым аппетитом ел резиновые котлеты, но не мог похвастаться блестящими результатами. Его авторитет разбивался об упрямый, шаловливый задор молодости.

Остается неизвестным, когда и кем была установлена эта непримиримая ненависть кадет к постному столу, принявшая впоследствии форму традиции, но так же осталось неизвестным имя того сердечного и понимавшего душу молодежи директора, установившего в корпусе другую, удивительно теплую и красивую традицию, — «Вольного чаепития».

Трудно сказать, что руководило сердцем этого доброго человека. Как администратор, которому было вверено воспитание юношества, он был,

конечно, неправ, но он был прав в том, что он когда-то был сам кадетом, может быть не в этом, а какомнибудь другом кадетском корпусе, что его сердцу знакомы и близки бунтарские начала молодости.

Эти три постных недели кадетам всех трех рот разрешалось с 4 до 5 вечера пить чай в корпусной столовой, а назывался он «вольным чаем», потому что кадеты 2-ой и строевой роты могли итти на чаепитие группами или в одиночку, и только третья рота шла строем под наблюдением воспитателей. Корпус давал только кипяток и чай, все остальное, и только постное, кадеты должны были покупать на свои деньги. Для этой цели два раза в неделю, в будние дни, от каждой роты отпускали в город за покупками трех кадет, с той лишь разницей, что кадеты 2-ой и 3-ей рот обязательно сопровождались дядьками, тогда как кадеты строевой роты могли итти самостоятельно без какого либо надзора. Заблаговременно на отдельных листках писалась фамилия кадета, перечень того, что надо купить, и вместе с гривенниками, пятиалтынными и полтинниками передавалась сопровождающему дядьке. Все шли на ярмарку, которая открывалась в Симбирске в первый день великого поста и закрывалась в вербную субботу.

Огромные закрытые ряды с постными сластями горели разноцветными огнями лампочек, молодые и бородатые купцы в чистых белых фартуках и нарукавниках приветливо и гостеприим-

но встречали юных покупателей. Каждый уже жевал какойнибудь глазированный фрукт, сосал леденец, щелкал орехи, а приставленный к дядьке расторопный приказчик быстро отвешивал: рахат-лукум, мед сотовый, белевскую пастилу, вяземские пряники, засахаренную клюкву, рябину и постный зеленый, желтый, розовый сахар.

Все купленное раздавалось по рукам, и к четырем часам огромная столовая корпуса заполнялась кадетами. Особенностью вольного чаепития была какая-то тихая патриархальность, исключаяющая возможность каких-либо шалостей. Создавалось впечатление, что на эти часы молодость стала разумной, отъявленные шалуны, зачинщики всех проказ, исправились, и в столовой царила великопостная тишина. Трудно сказать, что руководило кадетами: боязнь ли потерять эту привилегию вольного чая или уважение к этой красивой традиции, уважение к неизвестному большому человеку, введшему, в противовес их неразумной постной шалости, эту традицию, смягчившую острые грани резиновых котлет и горохового супа и поставившую самую шалость в узкие, безобидные рамки. Особенно любил посещать эти чаи директор корпуса, генерал Симашкевич.

Каждый чайный день в столовой строевой роты появлялась монументальная медлительная фигура директора. Он переходил от одного стола к другому, вел с кадетами короткие беседы, и это общение старости с молодостью, подчиненных

с начальником, было основой той разумной дисциплины, которой жила строевая рота. Сумрачный с виду, нелюдимый, но умный, генерал Симашкевич не спроста посещал и поддерживал традицию «Вольного чаепития».

ИСПОВЕДЬ

Кадеты говели: строевая рота на Страстной, вторая на Крестопоклонной и третья, малыши, три последних дня первой недели поста. Маленький Жоржик впервые пошел на исповедь. Он и раньше ходил на исповедь, в Саратове, где, во время Японской войны, временно жила семья Брагиных; ходил в маленькую розовую церковь на Московской улице, настоятелем которой и духовным отцом их семьи был беленький старичек, отец Филарет. Но в детском сознании все прежние исповеди, обычно кончавшиеся тем, что отец Филарет вынимал из кармана и вкладывал в его маленькую рученку несколько карамелек, сейчас представлялись ему не настоящими, а игрушечными, и только сегодняшняя исповедь, когда его будет исповедовать чужой батюшка, который не даст ему карамелек, вызывала в его маленькой душе трепет и беспокойство. За час до исповеди он взад и вперед нервно ходил по ротному залу, много раз останавливался у ротного образа, в мыслях стараясь вспомнить все содеянные им грехи.

В церкви было тихо-темно... Так всегда бывает в церкви, когда не горят свечи, а лишь разноцветные желтые, зеленые, красные, синие огоньки лампад струят спокойный свет на спокойные лики икон. Черные с серебром великопостные аналои дышали траурной грустью.

На амвон вышел батюшка, уже не в темно-малиновой, как обычно, рясе, а в черной, поверх которой была одета черного бархата с серебряным шитьем эпитрахиль. И сам он весь: его лицо, глаза, борода, безжизненно повисшие кисти рук казались траурными — великопостными.

Отец Михаил долго крестился перед Царскими вратами, изгибал свое большое тело в поклонах, правой рукой почему-то касался пола и неслышно шептал в бороду какую-то молитву. Он повернулся, окинул ряды кадет спокойным взглядом и тихо сказал: — Дети! Когда следующий раз я выйду на амвон, внимательно слушайте молитву, которую я буду читать... Нет человека, дети, который бы жил и не согрешил, и эта молитва просит милосердного Господа отпустить-простить нам наши грехи. Когда буду опускаться на колени, — опускайтесь и вы, когда буду вставать, и вы вставайте... Молитесь, дети, с закрытыми глазами...

Отец Михаил скрылся в алтаре... Началась служба... На левом клиросе торопливо и непонятно что-то читал отец дьякон.

Жоржик стоял напротив образа Серафима Саровского, написанного преподавателем корпуса

художником Павлом Ильичем Пузыревским. Говорили, что Пузыревский, большой почитатель преподобного Серафима, специально ездил в Саровскую пустынь, постился, приложился к мощам преподобного, и там в лесу написал этот образ. На фоне лесной дали по узкой тропинке идет сгорбленный старец с крестом на груди, с которой за плечами, с самодельным посохом в правой руке и с топором в левой. Сзади старца, словно охраняя его, идет огромный бурый медведь. Большая, усыпанная разноцветными камнями, красная лампада, мягко освещала образ, и в нежно розоватом подсвете живыми казались старец, медведь, и листвою шелестела загадочная даль Саровского леса. Жоржику понравился старец, понравились его добрые глаза, смотревшие прямо в его детскую душу, в его маленькие грехи...

Отец дьякон нараспев закончил чтение. На амвон, как обещал, вышел батюшка. Он три раза перекрестился широким крестом и проникновенно, чеканя каждое слово, начал:

«Господи и Владыко живота моего,
дух праздности, уныния, любоначала
и празднословия, не даждь ми.»

Церковь огласилась шумом земного поклона.

«Дух же целомудрия, смиренномудрия,
терпения и любви, даруй ми рабу
твоему.»

Новый земной поклон, новый шум и снова тишина.

«Ей Господи Царю, даруй ми зрети моя
прегрешения, и не осуждати брата моего,
яко благословен еси во веки веков, аминь,»

Третий поклон... Батюшка ушел в алтарь. Волна разочарования пробежала по рядам кадет. Мальпи внимательно слушали молитву, глубокий смысл которой, конечно, был ими не понят. Но молитва понравилась им, понравилась, потому что много раз им приходилось опускаться на колени и снова подыматься Кончилась служба... Батюшка с крестом вышел на правый клирос и приступил к исповеди. Кадет 3-ей роты, то-ли следуя примеру Иоанна Кронштадского, то-ли учитывая невинность и неосознанность детских грехов, отец Михаил исповедывал группами в десять человек. Жоржик со своими друзьями — Лисичкиным и Упорником попали в третью группу. Отец Михаил расставил кадет полукругом у черного аналая, широко развернул свои большие руки, обнял детей за шеи, так что их головы касались друг друга и, низко опустив свою голову, что то пошептал себе в бороду.

— Кому посмотрю в глаза, называй свое имя:
— тихо произнес отец Михаил.

— Дети, я, только что сказал вам, что нет человека, который бы жил и не согрешил, и милосердный Бог дал нам исповедь, как очищение от содеянных вольных и невольных грехов. А что такое грех?.. Это нарушение заповедей Господних... Господь сказал — «не укради... не бери

чужого.» Батюшка встретился с бегающими, явно обличающими себя, глазами известного проказника Дагмарова.

— Александр! — чуть слышно пролепетал кадет.

— А ты зачем у приятеля тайком берешь конфеты? А тебе не стыдно, что потом этот же приятель угощает тебя и жалуется тебе, что кто-то потихоньку берет у него конфеты... Ты думаешь, что обманул его? Ты нарушил заповедь Господню — «не укради.» Никогда не бери чужого, а приятелю сознайся...

Догмаров, потный от волнения, слушал обличительные слова батюшки и никак не мог уразуметь одного, — почему батюшка все знает?.. В мозгу мелькнула мысль — «наверно батюшка святой.»

— Господь сказал — «Возлюби ближнего твоего, как самого себя.» Отец Михаил приблизил свое лицо к глазам известного фискала Кунина.

— Владимир! — стараясь не смотреть батюшке в глаза проронил кадет.

— Ты зачем выдал воспитателю шалость друга? Боялся быть наказанным за него? Лучше пострадать за друга, чем тайком выдать его... Он сам сознается, а тебе заплатит во много раз больше... Ябедничество тяжелый грех... Господь сказал: — «Сия есть заповедь моя, да любите друг друга, якоже возлюбих вы. Больше сия любви никтоже не имать, аще кто душу свою положит за други своя.»

— Отец Михаил перевел взгляд на Жоржика.

— Георгий...

— Ты маму любишь?

— Люблю...

— А почему ты огорчаешь ее?.. Плохо учишься, шалишь, редко пишешь ей... Маму в своих сердцах вы должны носить как святыню, как что то прекрасное, чисто, светлое... Кто дал вам жизнь?.. Мама... Кто отдал вам всю свою жизнь?.. Кто согревает вас теплом, заботой, лаской?.. Мама... Господь сказал: — «Чти отца и мать свою.» А что такое чти?.. Люби, уважай, не огорчай, ничего никогда не скрывай от мамы, потому что для нее ты всегда останешься маленьким ребенком, которого она всю жизнь нянчит в своем сердце...

— Геннадий!..

— Господь сказал — «Не убий»

... Отец Михаил укладывал свою исповедь с одной стороны в рамки детских невинных грехов, с другой в рамки заповедей Господних и простыми, доступными их разуму словами, пробуждал в детях раскаяние, понимание хорошего и дурного, добра и зла. Молодые сердца Геннадиев, Михайлов, Владимиров, Георгиев, учащенно kloкотали в груди, глаза подергивались слезами содеянных грехов, и каждый в мыслях своих давал себе слово больше их не делать.

— Становитесь на колени, сделайте земной поклон и слушайте молитву: — сказал отец Ми-

хаил, сам опускаясь на колени. Он накрыл разгоряченные головы маленьких грешников эпитрахилью, от которой приятно пахло горьковатым, святым ладаном.

«Господь и Бог наш Иисус Христос благодатию и щедротами своего человеколюбия, да простит вам все согрешения ваши, и аз недостойный иерей, властью Его мне данною, прощаю и разрешаю вас от всех грехов ваших, во имя Отца и Сына и Святого Духа.
А м и н ь .»

НА КАНИКУЛЫ

Быстро и сумбурно прошли для новичков десять учебных месяцев, оставив в памяти лишь некоторые яркие моменты, озарившие улыбкой детской радости маленькую, казенную и суровую жизнь. Неизгладимое впечатление в детских военных душах оставил первый ротный праздник, 26-го ноября, день Святого Великомученника и Победоносца Георгия. Батюшка служил молебен не в церкви, а перед ротным образом украшенном живыми цветами и сказал, что все кадеты 3-ей роты сегодня именинники, и что за обедом каждый из них получит подарок. Детвора с нетерпением ждала обеда. Во время обеда играл корпусной оркестр, а между столами маячил грузный директор корпуса генерал-майор Симашкевич, раздавая каждому пакетики с шоколадными конфетами. Вечером, с 6 до 8, под тот же корпусной оркестр, под руководством Ширяева, первые, робкие, неумелые танцы с какими то незнакомыми маленькими девочками в коричневых и серых однообразных платьицах.

6-ое декабря... День именин Государя Императора. Торжественная служба в церкви, молебен с многолетием, парад, опять конфеты после обеда, а вечером большой концерт и бал в строевой роте. Масса публики... Все нарядные и какие то праздничные... Так не хочется идти в свою роту. В ней нет флагов, светящихся вензелей, нарядной публики, а только строгий воспитатель и дядьки... В ней будни, беспросветные будни жизни. ..

27-ое декабря... Елка... Большая до потолка елка украшенная блестящими игрушками, бусами, фонариками, свечами... Как дома... Под елкой, по числу кадет, цветные мешочки с вяземскими пряниками, орехами, карамельками... Опять корпусной оркестр... Те же девочки, но уже не такие чужие, а знакомые... Коля Упорников под елкой читает стихотворение... ошибся, забыл, покраснел, снова начал... полковник Гусев тихо подсказывает ему... Жоржик в мягких сапожках, в широких синих шароварах, в голубой вышитой рубахе четко отплясал казачка... Первые пьянящие аплодисменты... первый успех маленького актера...

Зима... снежки... Лучший спортсмен корпуса, первый силач, кадет 7-го класса Ватеркампф прислал 3-ей роте наглый вызов на снежки. Один против всей роты. В вызове указывался день, час и условия боя. Второй класс без колебания принял вызов. Ватеркампфу в резких и оскорбительных тонах был послан ответ. Ротные стратеги приступили к работе... Тщательно разработан

план захвата Ватеркампфа в плен. Проведены две репетиции в ротном зале. Автор плана кадет 2-го класса Арванитаки был уверен в полном успехе. Решено было Ватеркампфа, по захвате в плен, посадить в ротный карцер.

...Ватеркампфа в плен не взяли, сражение проиграли, и несколько отважных малышей от метких ледяных снежков Ватеркампфа с подбитыми глазами были отправлены в лазарет, как тяжело раненные.

...Весна... Пасха... Радостно и светло на душе, и дни какие-то другие тоже радостные и светлые... Жоржику и Коле кажется, что Христос воскрес в 3-ей роте, почему им так хорошо и легко. За завтраком каждый день выдают по два крашенных яйца. Их никто не ест, а вечером в ротном зале на одеяле их катают с катка. Полковник Соловьев тоже катает. Вачнадзе уже выиграл 52 яйца. Он как то особенно искусно катает их и всех обыгрывает.

Острые, казавшиеся на первое время такими колючими, грани казенной жизни давно ушли, ушли за счет первых, чистых побегов детской дружбы. Уже никому не казалась жизнь одинокой, уже никто не чувствовал себя сиротой. Класс уже представлял из себя дружную хорошую семью, и пышными цветами зацветали нивы личной дружбы.

Начались экзамены... Коля и Жоржик готовятся вместе. Перед каждым экзаменом настроение взволнованно преподнятое особенно для мало-

способных и лентяев, но все прошло относительно благополучно. Экзаменаторы более чем снисходительно относились к малышам, и очень небольшое число кадет перешло в следующий класс с переекзаменовками. Сдан последний экзамен, и впереди радостные каникулы, встреча с родными, их баловство и свободная без уроков жизнь. Тепло и хорошо на душе, и только момент расставания с друзьями печален и горек. Упорников уезжает в город Калач Донской области, Жоржик в Саратов, Лисичкин в далекую Сибирь, в Ачинск.

Поплыли пароходы, колесами застучали поезда, унося в разные уголки России маленьких кадет. Это были уже не те вновь испеченные кадеты, на которых, по словам сварливого каптенармуса, форма сидит, как седло на корове. Год пребывания в корпусе отшлифовал, отполировал их. Чистенькие, подтянутые, с хорошей выправкой они уже с достоинством носили форму корпуса.

Все как один, одетые в хорошо пригнанные суровые коломянковые рубахи с синим погоном, в черные отглаженные брюки и начищенные до предельного блеска сапоги, они по заслугам останавливали на себе внимание прохожих, а задорно сидящая на голове фуражка с красным околышем и кокардой вызывала восхищение у подрастающего слабого пола.

1906 год

Группами и в одиночку, поездами и пароходами тянутся в родной корпус к началу учебного года маленькие и взрослые кадеты. Как братья одной семьи, они радостно встречаются на паромных пристанях, узловых станциях железных дорог и к 15-му августа, молодым, шумливым потоком вливаются в корпус. Три месяца вольной жизни, баловство родителей и родственников, сладость относительной вольности конечно отдалили их от казенной жизни и суровой дисциплины корпуса. Первые дни непривычно, тяжело, но неизбежное очень скоро берет верх, и жизнь сама собой укладывается в рамки уроков, перемен, завтраков, обедов, шалостей, наказаний, праздничных отпусков, временно оборвавшихся встреч и развлечений.

В жизни корпуса 1906 год был годом, выходящим из круга обычных учебных лет. Как только кадеты съехались с каникул, в одну из больших перемен все три роты корпуса были выстроены в портретном зале строевой роты. Воспитатели не

объяснили причины экстренного сбора, и кадеты, в особенности старших классов, сгорали от любопытства и инстинктом ожидали какого-то сюрприза.

— Смирно! Равнение направо! — скомандовал командир 1-ой роты, полковник Максимович, и подошел с рапортом к директору корпуса.

— Здравствуйте кадеты!

— Здравия желаем Ваше превосходительство! — не совсем стройно ответили кадеты, за три месяца каникул отвыкшие от обычной практики. Директор корпуса не торопясь обошел фронт трех рот, построенных буквой «П» и отошел на середину. Он выдержал большую паузу и спокойно начал: — Кадеты Симбирцы! Я имею сообщить вам великую радость... Его Императорское Величество Государь Император всемилостивейше соизволил даровать Симбирскому Кадетскому Корпусу знамя. Его Величество повелел главному начальнику военно-учебных заведений Великому Князю Константину Константиновичу лично вручить корпусу дарованное знамя, и мы каждый день должны быть готовы достойно встретить августейшего гостя... Ваши воспитатели и законоучители подробно объяснят вам значение монаршей милости и знамени... Ротные командиры, ведите роты на завтрак: — сухо закончил сухой директор.

Роты разошлись на завтрак и каждая, в зависимости от возраста, по своему расценивала и переживала объявленную директором новость. Мальчиш 3-ей роты вообще никак не реагировали

на нее и больше были заняты вкусным завтраком. Кадет 2-ой роты больше интересовал приезд в корпус любимого ими Великого Князя и обычный двухдневный отпуск, которым он всегда дарил кадет, уезжая из корпуса. И только кадеты старших классов, знакомые по военной истории и литературе с героическими подвигами защиты и спасения знамен, полностью осознали великую честь монаршей милости. Они как-то сразу выросли морально и искренно были огорчены тем, что знамя будет храниться не у ротного образа, а в корпусной церкви.

Чуткий отец Михаил сразу учел повышенный и жертвенно-искренний интерес кадет к предстоящему событию и в один из своих уроков принес и роздал кадетам отпечатанные листы с текстом присяги. Он хорошо знал, что кадет к присяге не приводят, но каждый урок в старших классах он последовательно объяснял кадетам сущность и глубокий смысл текста тяжелой и трудно усваиваемой присяги, написанной Петром Великим. Дольше и чаще всего он останавливался на заключительных словах присяги, где присягаемый повторял:

«...но за оным (знаменем) пока жив следовать буду и во всем так себя вести и поступать, как честному, верному, послушному солдату надлежит. В чем да поможет мне Господь Всемогущий. В заключение сей клятвы целую слова и крест Спасителя моего. Аминь.»

В корпусе все, от начальства до кадет, знали, что Великий Князь никогда не извещает о своем прибытии и обычно приезжает «инкогнито.» Администрация корпуса почему-то решила, что августейший начальник приурочит свой приезд, освящение и прибавку знамени, ко дню корпусного праздника — 8-го Сентября. Началась подготовительная гонка. Полковник Максимович долго не мог остановить своего выбора на знаменщике и наконец остановился на кадете 7-го класса Георгие Ломанове. Средняго роста, стройный, коренастый, Ломанов, помимо всего, имел природную гордость в посадке головы и эластичное достоинство в движениях. Ассистентами были назначены молодые офицеры: капитан Аноев и штабс-капитан Аношин. Начались репетиции. Кадет в головных уборах, строевая рота при винтовках, много раз выстраивали в портретном зале. Корпусной оркестр гремел «встречу». Директор корпуса выступал в роли «АВГУСТЕЙШЕГО» и, шаловливым детским умам казалось, что он был искренне рад, когда, на его приветствия, кадеты дружно отвечали: — «Здравия желаем, Ваше Императорское Высочество.»

Вице-фельдфебель строевой роты, Авенир Ефимов, с гордо поднятой головой, как изваяние, стоял с древком будущего знамени, торжественно, в положенный для этого момент, вручал его знаменщику Ломанову. Ломанов с достоинством нес воображаемое знамя на средину зала, с противоположных сторон с шашками на голо, шли

ассистенты... Много раз раздавалась команда: — «На молитву шапки долой»... «Накройсь»... «Под знамя слушай, на краул»... Оркестр играл гимн, и молодое «ура» оглашало огромный зал.

Каждая следующая репетиция проходила более гладко, чем предыдущая, а в осанке директора, в манере держаться, чувствовалось, что то «ВЕЛИКОКНЯЖЕСКОЕ». Расчет всех не оправдался, прошло 8-ое сентября, а Великий Князь не приехал. Прошел октябрь... пришла зима, а с нею новые беспочвенные гадания с смутным решением возможного прибытия августейшего гостя в один из дней ротных праздников: 8-го ноября — 2 роты, 26-го ноября — 3 роты и 30-го — строевой. И на этот раз надежды предсказателей не сбылись...

Корпус готовился к традиционному концерту и балу 6-го декабря. День 6-го декабря корпус праздновал особенно торжественно. После литургии и молебна, на внутреннем плацу корпуса производился зимний парад всех трех рот, во время обеда играл корпусной оркестр, и сам обед состоял не из трех, а из четырех блюд. В 8 часов вечера в портретном зале строевой роты на эстраде, сплошь украшенной живыми цветами, свечами, вензелями и флагами, силами учащихся и учащихся давался разнообразный концерт, после которого открывался первый зимний бал.

Огромный зал строевой роты переполнен до отказа. Дамы в бальных туалетах различных

цветов и оттенков, словно нежные цветы на клумбах, военные в парадной форме при орденах, штатские во фраках. Первые три ряда заняты высокопоставленными гостями, за ними коричневые ряды гимназисток Мариинской гимназии и серые Якубовской, ряды воспитательского и преподавательского персонала с семьями, и у задней стены черная масса кадет с сверкающими в огнях люстр: галунами мундиров, начищенными пуговицами и бляхами поясов. Жоржик Брагин с самым маленьким кадетом корпуса Володей Симогуловым стоит на украшенной цветами площадке двухсторонней симметричной лестницы в створе 1-го ряда. На эстраде мать Володи, преподавательница музыки, мастерски играет один из этюдов Шопена.

— Встать смирно! — громом проносится по залу. Аккорд Шопена обрывается нестройным диссонансом. За шумом поднимающихся с мест мужчин, наступила тишина. Головы всех с любопытством потянулись к площадке лестницы, на которой, в сопровождении блестящей свиты, показалась высокая, худощаво-стройная фигура Августейшего гостя — Великого Князя Константина Константиновича в красочной форме 4-го Его Величества стрелкового полка. Потерявший великокняжескую осанку директор корпуса подбежал к Августейшему гостю, что то взволнованно отрапоровал, но чарующая улыбка и протянутая рука Великого Князя быстро возвратили ему на момент утраченное спокойствие и самообладание.

«Здравствуйте Симбирцы» — радостно приветствует Великий Князь, высоко подняв голову и устремив полный ласки взор в черную массу кадет.

— Здравия желаем Ваше Императорское Высочество, — дружно гремит в воздухе, и зал снова погружается в тишину.

— Продолжайте концерт...

Направляясь в первый ряд, Великий Князь, словно случайно, подхватил на руки маленького Володю и опустил в кресло, посадив, растерявшегося от счастья, кадета к себе на колени. Жоржик с завистью смотрел на счастливую рожу Володьки и искренне сожалел, почему он Брагин, а не Симогулов. Концерт продолжается... Мать Симогулова, выйдя на эстраду и увидев своего сына на коленях Великого Князя, теряет контроль над собой и безжалостно коверкает Шопена, за что очевидно и награждается бурными аплодисментами всего зала. Эстраду занял большой хор корпуса, с регентом Александром Михайловичем Пузыревым. Кадеты старательно пропели: «Ворон к ворону лети», «Бородино» и под шумные аплодисменты всего зала закончили «Калинкой». Наступил момент выступления Жоржика Брагина. Он заметно волнуется... Преподаватель русского языка Александр Александрович Мирандов ободряюще гладит его по голове и что то шепчет на ухо... Жоржик нерешительно выходит на эстраду, в горле стоит какой-то клубок, который он силится проглотить и не может.

Перед глазами в бешеном вихре вращаются неведомо откуда-то взявшиеся белые круги, в которых он явственно видит улыбающееся лицо Великого Князя и счастливую рожу Володьки... Где то справа мелькнула улыбка Мирандова...

— «Уволен» — стихотворение К. Р., — взволнованным голосом чуть слышно проговорил Жоржик...

Уволен! Отслужена служба солдата,
Пять лет пронеслись словно день;
Попрежнему примет родимая хата
Его под радушную сень.
Там ждет не дождется жена молодая,
Там ждут и сынишка и мать...
Малютка-то вырос, отца поджидая,
Пожалуй, его не узнать.
Уж близко теперь: вот знакомые нивы,
И речка, и жиденский мост;
Вот церковь белеет, и старые ивы
Склонились на мирный погост.
Вот избы: все снегом пушистым одето,
Овин, огороды, гумно,
И трудно поверить ему, что все это
Покинуто им так давно.
Как будто вчера лишь с родной, дорогою
Семьей разлучали его.
Седая старушка дрожащей рукою
Крестила сына своего...

Жоржик не слышит произносимых им слов и только замечает, как улыбка Августейшего автора постепенно сменяется сосредоточенным выра-

жением лица. Он чувствует на себе добрые глаза Великого Князя и, овладев собой, каким-то под-сознательным наитием, детским звонким голосом смело бросает в огромный зал: слова, фразы, мысли, постепенно разворачивающиеся правдивые и яркие картины беспорочной службы солдата Государевой роты, одного из гвардейских полков, радость увольнения в запас, приезд в родную деревню . . .

Вот с края деревни знакомая крыша
Приветливо манит к себе:
Все шибче, земли под ногами не слыша,
Бежит он к родимой избе,
И все с каждым шагом растёт нетерпенье . .
Вот, вот она, хата его . . .
Но что это значит? В каком разрушении . . .
Дверь настежь, внутри — никого,
Повыбиты стекла, свалились ворота . . .
Но что же жены не видать?
Иль может нашлась ей какая работа,
А с ней и сынишка и мать?
И душу тревожит дурная примета . . .

Жоржик остановился, но не потому, что забыл заключительную часть стихотворения. Его парализовала мертвая тишина зала, тысяча вопрошающих глаз, как бы требующих от него правды. Они нашли жестокую правду на кладбище у развесистой сосны, где был схоронен отец солдата . . .

Других два креста та сосна осенила
Угрюмою тенью своей,

И свежая детская чья-то могила
Ютилася тут же под ней,
Случайным, рассеянным взглядом невольно
Прочел имена он, и вдруг
В глазах помутилось, грудь сжалась
так больно,
И выпала шапка из рук...

Не слыша произносимых слов, Жоржик в заключительных строфах открыл картину ужасной, незаслуженно жестокой правды осиротелого солдата, и сам очнулся только тогда, когда огромный зал загремел аплодисментами. Великий Князь и Володька тоже аплодировали. Директор корпуса подошел к Великому Князю и о чем то почтительно попросил его. Великий Князь встал, утопил Симогулова в своем кресле и вышел на эстраду. Волна несмолкаемых оваций огласила зал. В заключительном номере программы пел кадет Устимо-Руткевич, аккомпанировал певцу Августейший гость...

Кончился концерт... К оставшемуся на эстраде Великому Князю потянулись: представители города, командования и администрации корпуса. Взрослые разбрелись по гостиним, а молодежь в длинный ротный зал, превращенный в зимний сад с тремя аллеями елок, садовыми скамейками, лунным полумраком, фонтаном и затейливой избушкой с мороженым и прохладительными напитками. Малышей 3-ей роты против их желания быстро увели в столовую, где их ждал поздний, праздничный, вкусный ужин. Дядьки корпуса

быстро расставили стулья по стенам зала и 12-ю щетками прошли шлифованную поверхность паркета. Блестя медью начищенных инструментов, оркестр корпуса занял эстраду. На руках кадет снегом забелели замшевые перчатки.

«ВАЛЬС», — громко и четко возгласил распорядитель танцев.

Великий Князь склонил голову перед сидящей, слегка располневшей, но сохранившей прелесть женского очарования, женой директора корпуса, и открыл бал. Его примеру последовала молодежь и зал закружился в первом вальсе.

ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ КОНСТАНТИН

Великий Князь Константин Константинович долгое время занимал ответственный пост Августейшего начальника военно-учебных заведений. Ему было вверено воспитание и образование молодежи, и едва ли во всей России можно было найти более достойного и подходящего государственного деятеля, быстро сумевшего направить это воспитание в широкое, национальное русло прекрасных и незыблемых традиций русской армии и флота.

Высокообразованный человек, писатель, поэт, музыкант, он был тем «добрым сеятелем», который щедрой рукой бросал на зеленые нивы молодости зерна: отеческой любви, ласки, заботы, добра и в сердцах кадет оставил по себе нетленную память. Глубокая чуткость, безграничная возвышенность мысли, любовь ко всему прекрасному и простота были национально-религиозным обликом Великого Князя — человека.

С момента первого посещения корпуса в 1900 году у Великого Князя с симбирскими кадетами

установились, и пожизненно сохранились, особо теплые отношения. По его отъезде из корпуса, неизвестно по чьей инициативе, директора ли корпуса, или по почину самих кадет, все кадеты корпуса написали Великому Князю личные письма. Письма были переплетены в три книжки, по количеству рот корпуса, обтянуты обложкой художника П. И. Пузыревского, и с препроводительным письмом директора корпуса вручены Великому Князю. Эти письма были невидимыми нитями того обожания, которое Великий Князь навсегда оставил в сердцах симбирских кадет.

...«Я все это читал и перечитывал с умилением и даже иногда со слезами радости... Особенно растрогали меня два письма кадет, которым угрожало исключение из корпуса за дурное поведение. Я разрешил оставить их в корпусе, чтобы дать им возможность исправиться... Не могу описать тебе радости быть опять у моих симбирцев. К ним у меня особенно нежные, идиллические чувства.»

Так писал Великий Князь своей сестре королеве Эллинов.

Каждый приезд Великого Князя в корпус был праздником для кадет. Как-то по другому текла согретая теплом искренней заботы казенная жизнь корпуса, как-то радостно и легко дышалось. Так было и в его настоящий приезд. Доверив официальную часть инспекции корпуса прибывшему с ним, деловому и на вид суровому, но доброму генералу Лайминг, Великий Князь все

время проводил среди кадет, кочуя из одной роты в другую. Он не любил, когда в общении с кадетами его сопровождает администрация корпуса и, чаще всего, появлялся неожиданно там, где его меньше всего ждали. В часы уроков он ходил из одного класса в другой, проверял знания кадет по разным предметам, спасал утопающих, которым в журнале сам ставил несколько повышенную отметку, впоследствии называвшейся «великокняжеской».

...Пять часов вечера... В третьей роте перед вечерними классными занятиями последний шум, беготня, крики...

— Смирно! — зычным голосом, стараясь заглушить многогласый шум разбушевавшейся детворы, кричит дежурный воспитатель при неожиданном появлении Великого Князя.

— Здравствуйте, дети! — радостно восклицает Великий Князь, не дожидаясь рапорта дежурного офицера.

— Здравия желаем, Ваше Императорское Высочество! — нестройно звучат детские голоса с разных мест длинного ротного зала. Из классов высыпали все кадеты... Окружили кольцом Великого Князя. Начинаются игры... чехарда... бег на перегонки... бег в мешках... Шумно, весело и просто. Великий Князь сам руководит играми и раздает победителям пакетики с конфетами. Дядьки приносят канат, пробовать силу — кто кого перетянет. Первые отделения 1-го и 2-го классов против вторых отделений тех же классов.

Кадеты с шумом берутся за канат: впереди силачи и в конце слабосильная мелюзга 1-го класса. Великий Князь, дежурный воспитатель, и только что прибывший в роту полковник Евсюков, стоят в центре. Свисток дежурного воспитателя... Все смолкло... потянули... Первое время, пока не иссякли силы, обе стороны стойко отстаивают свои позиции. Великий Князь подбадривает тех и других, лицо все чаще и чаще озаряется доброй улыбкой, отражающей любовь к детям. Вдруг кадеты вторых отделений сделали один, другой, третий удачный рывок, противник зашатался и, потеряв баланс, заскользил по полу. Великий Князь перебежал на сторону слабых, взялся за канат, восстановил равновесие сил, и через несколько секунд черная экзальтированная масса покатила обратно, заскользила и, оглашая воздух детскими, звонкими голосами, как орехи, рассыпалась по паркету. К радости одних и к горечи других сторона Великого Князя победила... Побежденные и победители плотным кольцом обступили Великого Князя. С разных сторон искорками беспредельного обожания горели детские глаза.

— Ну, а теперь, дети, по классам... готовить уроки... Я завтра приду и буду спрашивать вас... Я строгий, — закончил Великий Князь, с улыбкой оглядывая коротко стриженные головы кадет.

Кадеты молча побрели в свои отделения, унося в своих сердцах ласку и тепло, согревшие их маленькую казенную жизнь...

... Шесть часов утра... Час подъема... Великий Князь в спальне 2-ой роты. Со всех сторон слышится сладкое посапывание крепкого, молодого сна... Оторопевший от неожиданной встречи с Великим Князем горнист, надув румяные щеки, нестройно трубит утреннюю зорю. Великий Князь с улыбкой наблюдает, как, испуганные резким звуком трубы, просыпаются, вскакивают кадеты, идет с ними в просторную умывалку, где из больших подвесных кранов плещется холодная вода, до красна разогревая детские мускулистые тела; сам делает утренний осмотр, журит за плохо вычищенные ногти, с ротой поет молитву перед ротным образом и с аппетитом ест холодную кадетскую котлету, отпивая из кадетской кружки сладкий горячий чай.

За четыре дня пребывания в корпусе Великий Князь не пропустил ни одной трапезы, и желанным дорогим гостем побывал на каждом столе огромной корпусной столовой. Для всех, в зависимости от возраста, у него находились простые теплые слова, оставлявшие в сердцах кадет глубокий след обожания. С малышами, только что оторванными от семьи и еще не свыкшимися с суровой обстановкой корпуса, он шутил, рассказывал смешные истории, радовался их веселому смеху, и сам хохотал с ними. С юношами 2-ой роты он вел более серьезные беседы: о необходимости хорошо учиться, быть примерного поведения и постепенно готовить себя к высокому званию будущих учителей солдат. Во время завт-

раков и обедов с кадетами выпускного класса Великий Князь любил повторять одну и ту же фразу. Задумается, окинет ласковым взглядом кадет, и как то проникновенно скажет: — В мире я самый счастливый отец . . . У меня 15 тысяч сыновей в возрасте от 10 до 17 лет, и все кадеты, все будущие верные защитники Отечества и Престола.

Остается неизвестным, знал или не знал Великий Князь, что его аппетит и повышенная любовь к кадетскому столу приносили большой убыток инвентарю корпуса, ибо в силу прекрасной юношеской традиции, каждая тарелка, на которой он ел, каждая кружка, из которой он пил, забиралась кадетами, разбивалась на мелкие кусочки и раздавалась на память. Особенно ценились кусочки с нетронутой буквой «К». Корпусная посуда была белая с синими буквами С. К.

Эти кусочки разыгрывались в лотерею, имевшую 10 билетов по числу кадет за столом. Администрация корпуса, конечно, знала о существовании этой, на первый взгляд может быть не совсем разумной, традиции, но она всемерно поддерживала ее, как выявление чистой детской любви к Великому Князю.

ВЕЛИКОКНЯЖЕСКАЯ ПОДКЛАДКА

Дедушка «Крокодил» был корпусной швейцар и едва ли кто-либо из кадет корпуса знал его настоящее имя. Знали только, что он бывший солдат времен Александра 2-го, что вот уже 20 лет, верой и правдой, служит в корпусе. Красивый, статный старик с копной вьющихся седых волос, с холеными седыми усами и бакенбардами, он с достоинством носил шитую галунами ливрею и никогда не потворствовал шалостям кадет на территории швейцарской комнаты. В деле же сохранения традиций корпуса, зачастую не совсем разумных, он, пренебрегая возможной ответственностью, был всегда на стороне кадет и в трудные минуты даже был их помощником.

Так было и теперь . . . Традиция корпуса повелевала, чтобы два кадета 3-ей роты, помещавшейся на одном этаже с швейцарской, во время завтрака вырезали красную генеральскую подкладку с шинели Великого Князя. Вырезанная подкладка передавалась в строевую роту, где доморощенные портные резали ее на мелкие кусоч-

ки, по числу кадет корпуса, и раздавали каждому кадету, как память посещения корпуса Великим Князем. На перемене, после второго урока, оба отделения 2-го класса тянули жребий, кому быть подкладочными хирургами. Жребий достался Искандару Мальсагову и Жоржику Брагину.

Как только рота ушла на завтрак, «заговорщики-вырезатели», вооружившись перочинными ножами, направились в швейцарскую. Поставленные в рамки ограниченного времени, зная бдительность и крутой нрав «Дедушки Крокодила», они заметно нервничали и не уверенные в его поддержке, пробирались тайком. Но их опасения были напрасны. Старик уже ждал их, и как только они переступили порог швейцарской, нетерпеливым шопотом спросил: — «Струменты есть?» Кадеты показали перочинные ножи.

— Эх вы — стрижи шустрые... Да ведь за Штиглец-сукно я в ответе буду... Не ровен час, порежете, — раздраженно проговорил Дедушка Крокодил, торопливо вынимая из кармана ливреи большие, острые ножницы.

Он сам подвел кадет к шинели Великого Князя, рядом с которой висела другая, тоже с генеральской подкладкой.

— Эту не трожьте... Лайминга, — сказал швейцар и отошел в сторону.

Искандар отвернул полу великокняжеской шинели, Жоржик присел на корточки и похолодевшими, трясущимися руками начал резать широкое поле красной подкладки.

— Скорей, скорей... Ну, что ты там мямлишь... не можешь вырезать подкладку, — шопотом торопил друга Искандар.

— Боюсь сукно порезать...

Сложная операция заняла 10 минут, в течении которых «Дедушка Крокодил» искусственно бодро ходил по швейцарской, фальшиво напевая себе в усы какой-то бравурный, военный марш. Мокрые от волнения, комкая полы вырезанной подкладки, кадеты с благодарностью вернули «Дедушке Крокодилу» его ножницы и быстро направились в роту, когда слышали позади себя хриплый голос старика: — Меня не забудьте... И мне кусочек принесите...

Швейцар подошел к шинели Великого Князя, распахнул полы... С темно серого фона сукна на него с молчаливым укором смотрели неровные зубцы жалких остатков подкладки. Старик задумался, покачал головой, по морщинистому лицу скользнула, чуть заметная, счастливая улыбка, словно он радовался, что подкладочная операция прошла благополучно, что традиция сохранена, что Великий Князь уйдет из корпуса без подкладки...

— Вот это любовь... эх, стрижи шустрые, — тихо сказал он, опуская полы шинели.

Рота возвращалась с завтрака... В классе Жоржик с увлечением рассказывал обступившим его кадетам об этапах подкладочной операции, а Искандар с гордостью демонстрировал перед экзальтированными слушателями неровные поло-

сы красной подкладки. В класс неожиданно вошел дежурный офицер полковник Манучаров.

— Брагин! В инспекторскую...

Мертвой тишиной ответили кадеты на строгий приказ воспитателя... Испуганные взоры проводили неудачного хирурга...

— Выгонят из корпуса, — упавшим голосом обмолвился Полиновский.

— Переведут на исправление в Вольский-дисциплинарный, — авторитетно заявил первый ученик Алмазов.

— Ничего вы не понимаете... Произведут в генералы... и подкладка уже есть, — насмешил всех Искандар.

Детское сердце учащенно kloкотало в груди, когда Жоржик подымался на второй этаж, кровь отлила от головы, в мозгу мелькали мысли: — Что я скажу?.. Я знаю... я должен сказать правду, что я вырезал подкладку... но ведь Искандар тоже вырезал... он помогал, мы вырезали вместе... Почему же отвечать я должен один?

Полковник Гусев ждал Жоржика у двери и, войдя в инспекторскую, переполненную преподавателями, подвел его к Великому Князю, беседовавшему с директором корпуса.

— Как твоя фамилия? — с чарующей улыбкой, грацируя, спросил Великий Князь.

— Брагин, Ваше Императорское Высочество, — чуть слышно пролепетал растерявшийся Жоржик.

— Брагин... Ты хорошо читал вчера на концерте... Работай над собой... Вот тебе мой по-

дарок, — скромно сказал Великий Князь, вручая Жоржику том своих стихов, с собственноручной надписью: — «Способному чтецу от Константина Романова.»

Счастливым Жоржик, не чувствуя под собою ног, сбегал по лестнице, прижимая к груди полученную им книгу. Вдруг он остановился, в мыслях, как укор, мелькнула вырезанная им красная подкладка, в детском мозгу путались и боролись два начала: — «правда и традиция». Последняя одержала верх, и он радостный влетел в класс, где степенный Иван Александрович Иванов уже преподавал урок естественной истории...

... Том стихов «К. Р.» с зеленой ленточкой, заложенной на 78-ой странице, погиб в багаже Брагина во время внезапного оставления Симбирска войсками полковника Каппель, но в памяти жива красивая традиция, сотканная чистой, детской любовью к Великому Князю Константину.

ЗНАМЯ

В среду 9-го декабря, на утреннем осмотре кадетам всех рот объявили, что сегодня будет только два первых урока, вместо третьего урока кадеты должны переодеться в парадную форму, после чего в портретном зале строевой роты состоится молебен, прибавка и освящение знамени. Ток повышенной нервности пронизал сердца кадет. Даже маленькие инстинктом чувствовали, что к их маленькой жизни вплотную подошел момент огромной важности, как то сразу стали ясными и понятными слова законоучителей о том, что «знамя» — есть родительское благословение корпусу на всю его жизнь. Притихли дети, остепенились шалуны. В зависимости от возраста каждый по своему, в своих мыслях, готовился принять это родительское благословение.

Больше и заметнее нервничали кадеты старших классов. Лихорадочным блеском горели глаза в ожидании Монаршей милости. Каждый сознавал, что наступает момент, когда их души осенит образ Божий, осенит знамя, и мысленная

клятва — «следовать за ним пока жив будешь» — переполняла их учащенно kloкочущие сердца. Больше других нервничал вице-фельдфебель Авенир Ефимов и знаменщик Георгий Ломанов. Первому надлежало поддерживать древко знамени во время прибавки, второму принять знамя от Ефимова, с достоинством пронести его по фронту трех рот и перед фронтом строевой роты церемониальным маршем пройти перед Августейшим Начальником, Великим Князем Константином Константиновичем.

Двенадцать часов дня... Портретный зал украшен флагами и вензелями... Перед бюстом Александра 2-го блестками сверкает аналой, одетый в серебряную парчу. Справа стол, покрытый зеленым сукном, с которого свисает бело-синее с золотым шитьем знамя, слегка прибитое к древку серебряными гвоздиками. За столом вице-фельдфебель Ефимов — бледный, серьезный, сосредоточенный. Духовенство в белом, пасхальном облачении... В правом углу зала преподаватели в форменных сюртуках, семьи воспитателей, начальствующие лица Симбирского гарнизона.

Послышался легкий шум, и на лестнице показались первые ряды 3-ей роты. Может быть не совсем умело, но старательно шли малыши, с иголочки одетые в парадную форму. Новый шум, и в зал легким, эластичным шагом вошла 2-ая рота. Несложным но четким перестроением она заняла свое место.

— На плечо!.. Шагом марш! — доносится громовой голос полковника Максимович, и через несколько секунд из ротного зала в портретный входит краса и гордость корпуса — строевая рота.

— Рота стой!.. Три четких приема и мертвая тишина... Как будто не люди, а статуи, статуи больших мастеров, сумевших создать благородство линий тела, гордость в посадке головы и ясность взора, как в зеркале отражающего черты будущего воина с безгранно развитым чувством долга. Полковник Максимович, блестящий строевой офицер, в парадном мундире, увешенный орденами и медалями спокойно обходит фронт роты, ежеминутно повторяя: — «Полное внимание»... «Полное спокойствие»...! и все будет хорошо...

— Смирррно!.. Слушай на краул!..

Оркестр заиграл встречу. Полковник Максимович обнажив шашку и, взяв ее под высь, подошел с рапортом к Великому Князю.

— Здравствуйте, Симбирцы!

— Здравия желаем, Ваше Императорское Высочество!

Великий Князь в сопровождении директора корпуса и личной свиты спокойно обходит фронт трех рот, и теплота его глаз смотрит прямо в души взволнованных небывалым событием кадет.

— На молитву шапки долой!

Начался молебен... Проникновенно служил отец Михаил, бархатными раскатами гремел го-

лос отца дьякона, старательно пел хор кадет под управлением Пузырева. Окончилось окропление знамени святой водой — освящение знамени, и громкие раскаты многолетия огласили огромный зал...

— «Накройсь»...

После краткого слова Великого Князя, высказавшего уверенность Императора в том, что Симбирские кадеты, разлетевшись по полкам доблестной русской армии, в ратных подвигах покроют себя неувядаемой славой воинской доблести и чести, началась торжественная церемония прибивки знамени. Гробовую тишину прорезали три удара молоточка... Великий Князь прибил первый гвоздик... За ним последовал директор корпуса, командиры рот, воспитатели, два первых класса строевой роты. Четко, по одиночке, подходили к знамени бледные, взволнованные кадеты и тремя ударами молоточка как бы закрепляли на вечность клятву хранить свое знамя, клятву носить в своих сердцах родительское благословение Императора.

... — Под знамя слушай, на краул!...

В воздухе блеснули клинки шашек... Ломанов, бледный, спокойным размеренным шагом подошел к столу, принял из рук вице-фельдфебеля Ефимова знамя и отошел на середину зала. С двух сторон, с шашками под высь, подошли ассистенты. Оркестр заиграл, роты кадет запели гимн.

Из маленького приволжского города неся в

столицу мощный поток беспредельной преданности Державному хозяину земли русской.

— К церемониальному маршу! Справа по отделениям! — прогремел командующий парадом полковник Максимович. Оркестр заиграл величественный Преображенский марш. Малыши развернутым фронтом, по отделениям, старательно, проходили перед родным знаменем и Великим Князем.

— Хорошо, третья рота! — выкрикнул Великий Князь, и глаза его смеялись радостью.

— Отлично, вторая рота!!!

— Рады стараться, Ваше Императорское Высочество!!!

— Великолепно, строевая!!!

— Рады стараться, Ваше Императорское Высочество!!!

Через пол-часа в столовой корпуса состоялся парадный завтрак для кадет, приглашенных и администрации корпуса. Великий Князь недолго задержался за богато сервированным столом для гостей. Он чувствовал на себе сотни ожидающих его ласки юношеских глаз и скоро его высокая фигура заколыхалась между столов кадет. Великий Князь прощался с симбирцами. Завтра в 11. 30 он покидал Симбирск. День был объявлен праздничным, но не отпусчным.

.

Как будто нарочно для отъезда Великого Князя день выдался солнечный и мягко морозный. Огромный пассажирский паровоз тяжело дышал

паром. Классные вагоны курьерского блеском начищенных стекол улыбались солнцу. В хвосте поезда два салон-вагона для Великого Князя и его свиты. На перроне начальствующие лица, администрация корпуса, почетный караул — кадеты 7-го класса — в парадной форме при винтовках, в белых замшевых перчатках. Справа медью начищенных труб блещет оркестр. Настроение у кадет печально приподнятое. Подходит минута неизбежного разставания с любимым начальником, чутко понимающим, душу кадета, безгранно заботливым и ласковым. Вдали заколыхалась высокая сухощавая фигура Великого Князя. Для многих, если не для всех, прогремела последняя прощальная команда: — Смирно! Слушай на краул!

Великий Князь широким шагом обошел фронт почетного караула. Печалью разставания искрились его добрые глаза. Нетерпеливый свисток паровоза... последний свисток главного... Тяжелые колеса заскрежетали по рельсам... Великий Князь на площадке вагона...

— Прощайте, родные Симбирцы!!!

— Ура... ура... ура...

«РАСПУСТИТЬ ИХ НА ДВА ДНЯ» — слышатся последние слова Великого Князя.

Великокняжеский подарок искрой радости облетел все три роты, и так как он был дарован в четверг, — четыре дня праздновали Симбирцы свое знамя, четыре дня праздновали доброту Великого Князя.

КАГОР

Настоятель корпусной церкви, академик, протоиерей Михаил Смирнов, был не только выдающимся законоучителем, сумевшим пробудить в кадетах интерес и любовь к читаемому им предмету, но и чутким служителем церкви, поднявшим до необыкновенной высоты благолепие церковных служб. Своими беседами и проповедями он прочно закладывал фундамент христианства и религиозности в молодые сердца будущего Христоролюбивого воинства. Церкви он отдавал все свободное время. С кадетами 7-го класса, имеющими музыкальность и голоса, он сам разучивал чтение Апостола, и легко добивался выразительности и четкости этого чтения. Он не пропускал ни одной спевки церковного хора, делал ценные указания кадетам и регенту и церковные песнопения постепенно приобретали христианскую проникновенность и смысл. В его время корпусной хор полностью пел литургии Чайковского и Бортнянского. Прислужниками в церкви всегда были кадеты 3-го класса. Они, обычно, задержи-

вались в алтаре два года, звонкими голосами читали шестопсалмие и, перейдя в 5-ый класс, сменялись другими. Отец Михаил считал, что кадеты первых двух классов не доросли до прислуживания в церкви, а последних трех классов — переросли, ибо их возраст вступал в естественную полосу юношеских увлечений, а церковные службы, на которых они должны были присутствовать, ломали отпуск и порождали нежелательные замены.

Прислужники должны были удовлетворять известным требованиям, вот почему отец Михаил, прежде чем сделать выбор, долго присматривался к возможным кандидатам. Прежде всего они должны были быть религиозными, физически походить друг на друга и иметь одинаковые голоса. В этом году отец Михаил остановил свой выбор на Жоржике Брагине и Мише Рудановском. Одинаковый рост, карие шустрые глаза, прямые острые носы, одинаковый разрез губ, звонкие голоса давали полную картину физического сходства. Батюшка или не доглядел или рискнул их духовным различием. Брагин был глубоко религиозным мальчиком, Рудановский — поверхностно. Брагин был идеалистом примерного поведения, хотя и был постоянным участником массовых проказ класса. Рудановский был реалистом личной шалости. В своей изобретательности он, конечно, далеко уступал татарченку Мальсагову, но его шалости, рождавшиеся в его мозгу как то совершенно неожиданно для него самого, стихий-

но овладевали им и часто имели нехороший привкус. Вот почему временами он несознательно, но уверенно ходил по опасной грани возможного перевода в Вольский исправительный корпус или исключения из корпуса. Алтарь, облачение, фимиам кадил и благотворное влияние отца Михаила скоро дали свои плоды. Миша остепенился, но не совсем излечился от своих шалостей. Реже, но все так же, они порою овладевали им.

Первый год службы в алтаре, к радости батюшки, прошел спокойно.

Отец Михаил был доволен своим выбором, умиленно любовался своими прислужниками, искренно полюбил их, баловал и в мыслях своих уже печалился скорым разставанием с ними.

8-ое сентября... Рождество Пресвятой Богородицы... Корпусной праздник... Торжественная литургия... Новое синее с золотом облачение... Церковь переполнена до отказа... «СВЯТАЯ СВЯТЫМ» — благоговейно возгласил батюшка, подняв вверх руки и просительно устремив взор на большой образ — «Моление о чаше».

Во время «запричасного» батюшка не разрешал прислужникам находиться в алтаре. Миша и Жоржик бесшумно удалились в пономарку, плотно закрыв за собой дверь. Острый взгляд Миши скользнул по неполной бутылке кагора.

— Давай, выпьем, — шопотом предложил он Жоржику.

— Что ты... грех, — испуганно ответил Жоржик, ошеломленный предложением друга.

— Батюшка сам говорит, что все люди грешные, но если покаешься... грех прощается, — авторитетно заявил Миша, охваченный приступом неразумной шалости.

— Не надо, — торопливо сказал Жоржик, желая предотвратить поступок друга. Но было уже поздно. Миша открыл бутылку, приложил к губам, сделал несколько глотков, и в испуганных попытках забыв закрыть бутылку, приблизился к другу.

— Только ты меня не выдавай, — прошипел он, рукой вытирая углы губ с следами красного вина.

— Я не выдам, — тихо ответил Жоржик.

— Батюшка не узнает, а на исповеди я сознаюсь... честное слово сознаюсь, — закончил Миша, в мыслях уже раскаивающийся в своем поступке.

Кончилась служба... Батюшка и отец дьякон вошли в пономарку.

— Ну, отче Георгие, разоблачай меня, устал, — сказал могучий отец Михаил, сам снимая ризу и передавая ее Жоржику. Случайный взгляд батюшки упал на незакрытую бутылку кагора.

Батюшка молча подошел к столу, неторопливо, как бы размышляя о чем-то, закрыл бутылку пробкой и, возвращаясь, встретился с виновато бегающими глазами Жоржика. Неся в шкаф облатение отца дьякона, мимо прошмыгнул Рудановский.

Переживая поступок друга, потный от волне-

ния, Жоржик, дольше обычного возился с облачением батюшки.

— Можно итти, батюшка? — торопливо четко спросил Рудановский, стремящийся как можно скорее покинуть пономарку.

— Можешь итти, — спокойно ответил отец Михаил, в виде поощрения кладя на голову Миши тяжелую мясистую руку.

— А ты останься, — так же спокойно сказал он, пристально глядя на взволнованного Жоржика. Отец Михаил, как обычно, снизу поднял свою бороду, утопил в нее свое большое лицо, задумался, и после небольшой паузы твердо сказал: — Передай Дмитрию Васильевичу, что ты больше в алтаре прислуживать не будешь... Ты знаешь почему... Можешь итти...

Краска залила лицо Жоржика... В мозгу промелькнуло обещание — «Я тебя не выдам». С поникшей головой Жоржик, молча, покинул пономарку, еще больше убедив отца Михаила в своей виновности. Миша с нетерпением ждал возвращения друга, он уже полностью осознал свой поступок и мучился неизвестностью его последствий. Сообщение Жоржика ошеломило его. Он рванулся к батюшке, рванулся к правде, которую он должен сказать ему, но Жоржик остановил его. Друзья решили ждать великого поста, исповеди, которые, однако, не открыли истинного виновника выпитого кагора, так как по болезни батюшки кадет исповедывал приглашенный корпусом протоиерей Фивейский. История с кагором

ушла в вечность, скрепив крепкой дружбой отношения Миши и Жоржика

. Восточная оконечность русской земли... Владивосток... Последний оплот проданного союзниками белого движения... Вечерело... Брагин с опустошенной душой медленно подымался в гору по Алеутской улице в сторону Светланки. В мозгу, навязчиво, вставал один и тот же вопрос — «что же дальше?» Вдали, слева, мелькнул силуэт маленькой, белой церкви, и в лучах заходящего солнца ярко горел маленький крест. Скоро послышался тоненький звон колокола, как бы повторявшего одно и то же слово: — «зайди, зайди, зайди».

«Где слышал я этот звон?.. Такой знакомый, близкий», — мелькнуло в мыслях и, напрягая память, Брагин инстинктивно прибавил шаг в сторону звона.

«Ну да... конечно... в Симбирске, в маленькой церкви, в которую мы ходили с Машей... с Машей...»

В мозгу пронеслась мысль о невозвратном детстве, перед глазами мелькали лица короткого счастливого прошлого, и совершенно машинально Брагин тихо начал говорить стихи «К. Р.», которые он когда-то читал в корпусе на концерте.

«Садилось солнце... зарею вечерней
Румяный зардел небосклон.
Ударили в церкви к вечерне,
И тихий послышался звон.

Лились замирая, вдали эти звуки,
Как зов милосердный Того,
Кто дал человеку душевные муки,
Кто в горе утешит его.»

. а колокол настойчиво повторял: — «зайди . . . зайди».

Брагин свернул в церковную ограду, прошел небольшой чистый двор, и вступил в прохладный полумрак низенькой церкви.

Спокойные лики святых, подсвеченные тусклым светом разноцветных лампад, ласково смотрели на ряд сгорбленных старушек, старательно отвешивающих поклоны чистой и сильной веры.

На левом клиросе псаломщик тенорком что-то торопливо и невнятно читал. Брагин встал у стены, опустил голову, закрыл глаза. Вспомнились слова отца Михаила — «Дети, молитесь с закрытыми глазами». Началась ектенья, и до слуха Брагина донеслись, так же, как звуки колокола, знакомые нотки голоса, которые он где-то и когда-то слышал.

. Умученных и убиенных за святую православную веру и отечество наше.

Брагин поднял голову, открыл глаза. На амвоне стоял корпусной дьякон о. Алексей Ягодинский.

Кончилась вечерня . . . Старушки, отвесив последние земные поклоны, нехотя, побрели к выходу, шопотом разговаривая друг с другом. Псаломщик тушил фитильки лампад, истово от-

бывая поклоны перед каждой иконой. Масляный чад наполнил маленькую церковь. Прошел старичек священник и, наконец, из алтаря показалась сгорбленная фигура дьякона. Почему сгорбленный? Почему седой? — подумал Брагин, с сомнением следя за приближающейся фигурой.

— Отец дьякон, — радостно воскликнул Брагин.

— Постой, постой... Знаю как тебя зовут... подожди, дай вспомнить.

Он сморщил лоб, тер его костлявой рукой и обрадовавшись воскликнул: — Жоржик?

— Брагин, Симбирского корпуса.

Отец Алексей обнял Брагина, схватил его за руку и вывел на церковный двор.

— Пойдем ко мне... Я живу здесь, — радостно говорил о. Алексей, указывая рукой на крошечный домик. Они вошли в маленькую кухнюшку, дверь из которой вела в скромную комнату, где стояли: небольшой стол, стул и походная кровать. В переднем углу черный аналой с иконой Николая Чудотворца и Евангелие.

— Садись... садись прямо на кровать... Сейчас вскипачу чай, — радостно-суетливо говорил помолодевший о. Алексей.

Он торопливо шмыгнул в кухню, разжег примус и скоро вернулся с грудой разного размера свертков. На столе появились: копченая рыба, сыр, масло, хлеб, варенье... Отец дьякон налил два стакана чаю и опустился на стул против Брагина. Вдруг, как бы вспомнив что-то, он вскочил и, направляясь в кухню, на ходу бросил:

— Подожди, не пей, я принесу кагор...

Через минуту он вернулся и, наливая в стакан Брагина красное вино, с шаловливой улыбкой сказал: «А помнишь кагор?.. Помнишь?»

Тусклые глаза загорелись огоньком далеких воспоминаний. Изборужденное глубокими морщинами лицо лучилось счастьем. Брагин молчал. Перед глазами мелькали строчки последнего письма Миши Рудановского, в котором он почему-то, по прошествии многих лет, вдруг вспомнил детскую шалость с кагором, извинялся перед Брагиным и убедительно просил его, если он будет в Симбирске, повидать отца Михаила и сказать ему, что кагор выпил он. Письмо оставило тяжелое впечатление в душе Брагина, словно Миша прощался с ним и передавал ему свою последнюю волю... В боях за озеро Нарочь Миша Рудановский был убит.

— Да ты что затуманился? Я пошутил... Ну был грех, но ведь отец Михаил сразу же простил тебя... только уволил из алтаря, — виновато говорил о. Алексей, через стол глядя руку Брагина.

— Отец Алексей, кагор выпил Миша Рудановский, — тихо произнес Брагин.

— Как? Почему же ты сразу не сказал? — удивленно воскликнул пораженный о. Алексей.

— Я дал слово Мише, что не выдам его, и сейчас лишь исполняю волю убитого...

— Миша убит? — глухо переспросил о. Алексей.

Низко опустилась седая голова... «Еще один»... «Вечная память».

Было за полночь, когда Брагин покидал о. Алексея в мыслях навсегда, унося последнюю волну воспоминаний о корпусе, нескончаемую вереницу умученных, убиенных, и просто ушедших из жизни лиц, о которых с грустью поведал о. Алексей. Брагин поведал о. Алексею все свои мытарства и, когда на прощание он обнял его, Брагин почувствовал, как его костлявая рука зажимает в его руку пачку каких то бумажек.

— Зачем отец Алексей? Не надо... Я еще молодой... Все невзгоды уйдут... Я пробью себе дорогу...

— Это не тебе... твоей жене... Мы Симбирцы, мы должны помогать друг другу: — закончил отец Алексей и уже в дверях добавил: — А за кагор — прости.

ПОЛИВНА

Тихо спустилася ночь над Поливной,
Лагерь кадетский окутался мглой,
Громко доносится трель соловьиная
Светится где-то огонь за рекой.

Тишь и безмолвие... Лист не шевелится,
Тени сползают с горы,
Только на западе слабо алеется
Отблеск вечерней зари.

Лентой широкой внизу расстилается
Матушка Волга река,
Легким туманом она одевается
Быстрые воды неся.

Ночь ароматная, ночь безмятежная,
Долго-ли мне любоваться тобой?
Может быть скоро судьба неизбежная
Даст насладиться мне ночью родной.

Вспомню тогда я и склоны лесистые,
Вспомню и лагерь кадет,
И издалека вам, рощи тенистые
Сердцем пошлю свой привет.

(Автор не известен)

Поливна — было дачное место в 7-и верстах к северу от Симбирска, расположенное в смешенном лесу на нагорном берегу Волги. Река, окаймленная на нагорном берегу лесом Поливны и на противоположном заливными лугами и песчаными отмелями, несла свои воды далеко вниз. Дачи состоятельных горожан были произвольно разбросаны в густой зелени леса и словно по уговору были выкрашены в белый цвет, издали напоминая дружную семью белых грибов. Тут же, несколько на отлете, приютился лагерь корпуса. Лагерь состоял из трех чистеньких барачков для кадет и нескольких маленьких дач для воспитателей и служб. Летние каникулы корпуса длились с 15-го мая по 15-ое августа. Подавляющая масса кадет разъезжалась по всей России к своим родителям и родственникам. Немногочисленными обитателями лагеря являлись или круглые сироты, или те из кадет, родители которых по тем или иным причинам не могли предоставить домашнего отдыха своим возлюбленным чадам. Лето 1907 года 13-и летнему Жоржику и его младшему брату Евгению по причине печальных обстоятельств пришлось провести в лагере. Старший брат Брагиных, Митя, вице-унтер-офицер выпускного класса, зимой, оступившись, упал с ледяной горы. Падение оказалось роковым. Через пять месяцев, несмотря на принятые меры, у Мити начался туберкулез реберных костей. В апреле мама уехала с ним в Алупку, а в августе тихо угас цветущий юноша, необыкновенно трогатель-

ный сын и брат, а для корпуса безупречный — «воспитанник чести». Весь класс был удручен несуразной, глупой потерей Мити, но особенно переживал утрату первый друг, одноклассник Сережа, барон Цеге фон Мантэйфель. Он, как будто сам, взглянул смерти в глаза и понял, что для каждого есть жизнь и есть смерть.

25-го мая 17 кадет разных классов, возрастов, мышлений, желаний и вкусов, но представляющих одну дружную семью симбирцев, выступили в лагерь. Первый месяц лагеря с кадетами проводил подполковник В. Ф. Соловьев, смененный в конце июня полковником Д. В. Гусевым. Администрация корпуса всячески старалась скрасить обездоленную жизнь кадет и на летние месяцы заменить им семью. Улучшенный стол, купанье, пикники, экскурсии, рыбалки, сенокосы были той вольностью, которая украшала каникулы кадет, и все же их жизнь была заключена в рамки известного режима и дисциплины. Для остротки шалунов при лагере даже был карцер, который, однако, редко кем-нибудь навещался и назывался кадетами — «круглая сирота». Жизнь лагеря начиналась в 7 часов утра, когда по трубе или барабану все кадеты должны были вставать и идти на Волгу купаться, и заканчивалась в 10 часов вечера, когда все должны были быть в кроватях. Приятными днями недели, скрашивавшими монотонную жизнь лагеря, были субботы и воскресения. В субботу вечером из города приез-

жал батюшка с отцом дьяконом, чтобы отслужить воскресную литургию в березовой роще, где силами самих кадет между белых берез, шуршащих своими маленькими листьями, была устроена открытая церковь.

Большой, сколоченный из досок, престол и жертвенник, покрывались белыми покрывалами и украшались зеленью и цветами шиповника, колокольчиков, анютиных глазок и полевых васильков. На аналое слева, утопая в цветах, лежала икона Рождества Пресвятой Богородицы — небесной покровительницы корпуса. Склоненная береза своими чистыми листьями чуть касалась драгоценных камней иконы и нежным колыханием словно отгоняла летний зной от лика Пречистой. Это была маленькая бедно убранная детской верой церковка, в которой незримо присутствовал Господь, к милостям Которого стекались дачники в праздничных белых одеждах, а с берега Волги, почерневшие от солнца рыбаки, в кумачевых рубашках и заплатанных штанах. Это был храм, угодный Христу, храм чистой молитвы богатого и нищего, березы и клена, василька и шиповника, случайно прилетевшей птицы. Сразу после литургии все: воспитатель, батюшка, отец дьякон, эконо́м и кадеты садились за общий воскресный завтрак, вкусный, уютный и семейный.

Каждый приезд в лагерь о. Михаила и о. Алексея вносил в жизнь лагеря незримое тепло, стирающие грани казенной жизни и вносящее в нее начала семейности. Батюшка, страстный охотник

за карасями, часто задерживался в лагере и на понедельник, чтобы ранним утром, как он сам говорил, «побаловаться карасями». Жоржик и Коля Джавров упросили батюшку взять их с собой на рыбалку.

— Карась рыба серьезная, не любит шалунов ... не будете шалить — возьму ...

— Не будем, отец Михаил, — в два радостных голоса ответили кадеты.

— Ну хорошо, я вас сам разбужу ... В четыре утра отплывем ... Удочки вам приготовлю ...

— А черви?

— Черви есть, из города привез ... городские вкуснее для карася ...

Весь вечер отец Михаил возился с своими удочками, поверял крючки, грузила, переставлял поплавки, смачивал студеной водой привезенных им червей. В 3.30 утра, осторожно ступая по спящему бараку, он разбудил юных рыбаков.

Солнце еще не проснулось ... кругом было серо темно, когда рыбаки достигли берега Волги. От воды тянуло утренней прохладой. Коля и Жоржик ежились на корме. Лодка шла подле берега, прибрежная трава поникла от тяжелой росы, с кустов ивняка скатывались редкие крупные слезки. Маленькие рыболовы молчали, отец Михаил греб осторожно и говорил шопотом.

— Рыба любит тишину ... особенно карась, — пояснил о. Михаил, свернув в тихую заводь. Весла зашуршали о живую изгородь осоки. Вдали в разных местах возвышались бархатные банники

камыша. Заводь дышала паром молочного тумана, в редких разрывах которого сталью блестела спокойная вода. Лодка пересекла поле водяных лилий и остановилась. Густая трава обняла ее.

— Отче Георгие, осторожно спусти с кормы груз, — шопотом сказал о. Михаил.

Стая крикв, испуганная непривычным шумом, выплыла из зеленой чащи, взмахнула крыльями и исчезла в тумане.

Алел восток... быстро светлело небо, уходил туман, гладь воды заиграла кружками проснувшейся рыбы... Отец Михаил насадил червей на крючки удочек, забросил одну для Жоржика, другую для Коли, и устроившись на носу лодки, закинул три своих удочки. Спокойная гладь воды в разных местах украсилась бело-красными поплавками.

— Следите за поплавком, как зашевелится, насторожьтесь... значит пришел полакомиться червячком... Карась рыба хитрая... долго будет играть, обсасывать червя, а как поведет, поплавок потопит, подсекайте его... Поняли?

— Поняли, батюшка, — придушенным шопотом ответили друзья.

Дальнейшее частое вытягивание и забрасывание удочек показало, что из наставлений батюшки юные рыбаки ничего не поняли и до конца рыбалки остались без почина. Отец Михаил очень скоро поймал, или, как он говорил, «добыл» двух небольших карасей и снова закинул свои удочки.

Коля и Жоржик уже давно свернули свои

удочки и впились глазами в вздрагивающие поплавки батюшкиных. Поплавок средней удочки много раз погружался в воду и снова выскакивал на поверхность. Батюшка встал во весь рост и что-то шептал словно уговаривал карася зацепиться за крючок... Вдруг резким движением он рванул удилице в сторону и вверх. В воздухе серебром сверкнул большой пузатый карась, сильно вильнул хвостом и шлепнулся в воду...

— У, своенравный какой... Все равно не уйдешь... быть тебе сегодня в сметане на сковородке... Меня не перехитришь...

Жоржик и Коля тихо шептались между собой и решили — «куда карасю с его карасиными мозгами перехитрить нашего батюшку».

Через несколько минут батюшка добыл еще двух карасей, и под конец в лодку шлепнулся огромный матерый карась, которого батюшке так хотелось видеть в сметане на сковородке.

ЛЕС

С раннего детства Жоржик как-то безотчетно любил природу, бессознательно восхищался ее красками, ее многогранным ликом, который поэты воспевают в своих стихах, писатели в прозе, а художники отображают на своих полотнах. Первые три дня в лагере, три дня привольной жизни одурманили его. Он часами смотрел на за-волжские зеленые просторы заливных лугов, серебряную ленту Волги, на голубой беспредельный небосклон, багровый закат с золочеными кудрями сизых облаков, матово-розовый рассвет, постепенно окрашивающий воду реки в темно-фиолетовый, сиреневый и в блекло-розовый цвет. Здесь в лагере Жоржик впервые познал сладость первой любви. Он полюбил лес Поливны, полюбил с первого взгляда, как только вступил в зеленую сетку его беспредельного шатра. Молчаливый лес околдовал его своей загадочностью. По ночам ему снились его заросли, шопот листьев, зеленые просветы, узкие, овейные безотчетным страхом тропинки, ведущие в глубину к незримо-

му журчащему ручью, а утром он торопливо до-
едал свой завтрак, чтобы незамеченным уйти
скорее в лес. Лес величаво молчал, залитый хо-
лодным утренним солнцем, напоенный смешан-
ным ароматом земли, трав, цветов и листьев. Бо-
ясь нарушить тишину еще не проснувшегося
леса, Жоржик осторожно ступал по ковру сочно-
го зеленого моха, на который сквозь листву дере-
вьев падали причудливые блики солнца, окраши-
вающие его то в серебро, то в блеклую зелень, то
в нежную просинь, усыпанную мелкими алмаза-
ми росы. Какая загадочная красота покоя, думал
он, продвигаясь дальше в сторону манящей розо-
вой прогалины шиповника. Пряный сладковатый
аромат цветов как наркоз туманил голову. Впра-
во, на опушке зеленого подлеска приютилась се-
мья синих колокольчиков. Они повернули свои
нежные головки к лучам восходящего солнца и
жадно пили тепло жизни... Их синева на фоне
блеклой зелени притягивала его. Он сделал не-
сколько шагов в их сторону и пораженный оста-
новился. Их головки, будто по команде, поверну-
лись к нему и в своем колыпании зашептались
между собой... Наверно испугались меня, поду-
мал Жоржик, и не желая нарушать их покой, он
круто повернул и стал углубляться в чащу леса,
в прохладную тень густой заросли, где царила
торжественная тишина. На него пахнуло горько-
ватой сыростью отживших листьев. Грустные
мысли, однако, не надолго овладели его разумом
.... У ствола огромного дерева он увидел плеяду

сочных, словно покрытых зеленым лаком, листьев, а за ними, будто прячась от него, притаились маленькие, словно восковые, цветы майского ландыша. Маленький красноголовый дятел, прилепившись к стволу дерева, усиленно и часто работал длинным клювом. Насмешливо посмотрев на Жоржика черным глазком, и убедившись, что он не посягает на цветы, дятел легко развернул узор бело-черных крыльев и, искусно лавируя между ветвями деревьев, скрылся в чащу.

«Почему я не дятел?» — подумал Жоржик, грустным взглядом следя за легким полетом птицы.

«Почему у меня нет крыльев? Я бы каждый день облетал весь лес... Взлетал бы на его мохнатые верхушки и оттуда пел бы ему «песнь любви»...

Жоржик замечтался, заслушался чириканьем разноцветных птиц и опоздал к обеду. В лагере была тревога... Дядьку Щербакова послали на поиски на берег Волги, Зимин бесплодно блуждал и аукал по лесу...

— Где ты был? — подходя, строго спросил подполковник Соловьев.

— В лесу, — тихо ответил Жоржик.

— Что ты там долго делал?

— Смотрел на деревья... на дятла...

— Сам ты дятел, — гневно сказал Владимир Федорович, и вынув из кармана большие серебряные часы, добавил: — Ты опоздал на полтора часа... Иди в кухню и попроси эконома накормить тебя... Дятел!

С понурой головой Жоржик направился в сторону кухни, и до его слуха долетели последние слова разгневанного воспитателя: — Передай эконому, что твое сладкое съел дятел.

Горечь обиды овладела Жоржиком. Он не мог понять, за что он наказан без сладкого, ведь он не сделал ничего плохого, он не виноват, что любит цветы, лес, птиц, и свернув в березовую аллею, ведущую к кухне, он презрительно подумал: — Ну что может понять «петух» с его петушиными мозгами.

В кухне его встретил всегда приветливый и ласковый Федор Алексеевич Дивногорский, эконом корпуса. Худенький, с круглой седеющей по краям бородой, с лучистыми добрыми глазами, он всегда напоминал Жоржику какого-то святого, образ которого он видел в раннем детстве в маленькой церковке — в Саратове. В старших классах корпуса он много раз старался разгадать тайну его жизни. Почему он эконом, а не архиерей? Почему в жизни он избрал такой скользкий полный соблазна путь? Почему у него всегда такие виноватые глаза, когда кадеты травят его за постный гороховый суп и рыбные котлеты? Почему от выкриков — «жулик», «вор» — он делается каким-то маленьким и забитым?

Поздняя краска стыда заливает сейчас лицо Брагина, когда он вспоминает слабые, уже истлевшие в памяти контуры эконома Дивногорского, отдавшего кадетам 23 года своей жизни и умершего в крайней бедности.

— Ну, гуляка, наверно проголодался? — обняв Жоржика, спросил эконо.

— Владимир Федорович просил накормить меня, — сухо ответил Жоржик, еще не остывший от горечи обиды.

— Садись... садись сюда, — засуетился эконо, убирая с своего стола папки с бумагами. Через минуту он сам принес Жоржику тарелку супу с клецками, рагу из барашка и двойную порцию шоколадного крема. Он сел напротив Жоржика и наблюдал, как он с аппетитом съел суп и обгладывал мягкие косточки молодого барашка.

— Вкусно? — причмокнув губами, спросил эконо. Жоржик ничего не ответил. Он чувствовал во рту вкусовое ощущение любимого крема. В мозгу мелькнуло — «сказать» «утаить» ... Эконом близко пододвинул к нему блюдце с кремом. Жоржик почувствовал чуть уловимый аромат шоколада, взял ложку, но проглотив горькую слюну, наполнившую его рот, с грустью сказал:

— Владимир Федорович просил передать вам, что мой крем съел дятел.

— Какой дятел?

— Птица дятел... с длинным клювом, с красной головкой... Я видел его в лесу...

Эконом догадавшись, что Жоржик за опоздание оставлен без сладкого, еще ближе пододвинул к нему блюдце соблазна и чуть слышным шопотом сказал: — А ты ешь... только скорее... Я все улажу...

— Нет... пусть ест дятел, — сказал Жоржик,

решительно отодвигая блюдце. Он вскочил и выбежал из кухни.

— Жоржик! Жоржик!.. Куда ты? — кричал ему в след добрый эконо́м.

Жоржик бежал в лес. Горькие слезы скатывались по его щекам, далеким частым стуком его встретил любимый дятел

. С каждым новым днем детская чистая натура Жоржика все сильнее и пламеннее влюблялась в лес. Он бессознательно ощущал прелесть этой тайной любви, которую знал он и молчаливый лес. Детским пытливым умом он старался разгадать очарование его переменчивых красок, его шорохи, внезапные падения листьев. Каждый день по нескольку раз он забегал в свой лес, садился на упавшее полусгнившее дерево и в трепетных мыслях хотел обнять всю его жизнь, чтобы потом, когда он будет большой, написать о нем книгу. Ему казалось, что лес, так же как человек, ночью спит, утром просыпается, так же как он лениво потягивается в теплой кровати, что ему жарко от палящего солнца, промозгло холодно от дождя, что он, так же как человек, имеет свои радости и печали, что он болеет, и болезни бывают тяжелые и неизлечимые.

— А лес умирает? — мелькнуло в мозгу.

— Конечно, нет, — утвердительно вслух ответил Жоржик.

— А тогда откуда взялись эти истлевшие пни, на которых так приятно греться на солнышке, к которым вплотную прилипли семейства «опенок»

и, так приятно пахнет лесной земляникой — «леснушкой»?

Мысли беспорядочно громоздились одна на другую, не находили разрешения, куда-то уходили, снова возвращались, временами казались ясными и прозрачными как воздух, временами туманными и черными как ночь. Жоржик с упорством продолжал добиваться познания лесной тайны. Он видел свой лес в красках ранней зари, когда его верхушки радостно дрожали от первой ласки солнца, он видел его в густых облаках молочного тумана, в полуденный час томящей жары, сквозь сетку мелкого дождя, когда тяжелые ветви, напоенные влагой жизни, отдыхали в мокрой исто-ме, он испуганно слушал свист и рев своего леса во время грозы... Он был далеко от своего леса, когда варвары революции у живой изгороди шиповника в ласковый майский день тайком расстреляли пятерых кадет, расстреляли за то, что они кадеты... Тела детей падали на колючий шиповник и кровью чести окрашивали нежно розовые цветы

С тех пор, каждый год, в один из ясных майских дней, шиповник Поливны цветет алыми, как кровь, цветами; нежные синие колокольчики, в трепетном колыпании касаясь друг друга, звенят чуть слышным погребальным звоном. Гордый лес низко склоняет свои мохнатые верхушки, красноголовый дятел не стучит по дереву длинным клювом, а неумело включается в печальный гомон птиц, в котором ясно слышится погребальный напев — «В Е Ч - Н А Я П А М Я Т Ь».

МИХЕИЧ

После ужина кадетам строго воспрещалось покидать черту лагеря, и обычно последние два часа перед сном они проводили на зеленой лужайке, неподалеку от леса, спускавшегося зелеными террасами к Волге. Тут обычно собиралась вся семья симбирцев: воспитатель, эконо́м, повар и дядьки Щербаков и Зимин. Дядьки заблаговременно приготавливали валежник, и по началу, когда костер горел крупными огненными языками, взметая в высь мелкие, умирающие на лету, искры, — у костра было шумно и весело. Слышались звонкие детские голоса, смех, а в нужные минуты строгие оклики воспитателя. Но как только огонь спадал, и угли, словно утомленные, подергивались тонким слоем серого пепла, у костра, как-то сама собой, наступала тишина... Иногда в полголоса пели русские песни или слушали рассказы из жизни Суворова, Нахимова, Скобелева. Подполковник Соловьев был хорошим рассказчиком, кадеты любили слушать его, а приятный тембр его голоса как-то успокаива-

юще действовал на уставших за день шалунов — словно пел перед сном — «колыбельную песнь».

В эти минуты маленький Жоржик любил смотреть на далекую ширь Волги, на ряд произвольно разбросанных по реке красных и зеленых плавучих маяков, на созвездие ярко мерцающих огоньков какой-то далекой железнодорожной станции, да на тусклый костер на другой стороне реки, как раз против лагеря.

Дядька Зимин трогательно любил Жоржика, то ли за крупную мзду, полученную, незаметно от начальства, от богатой тетки Брагина при его поступлении в корпус, то ли за то, что Брагин, хотя и был шалун, но не злостный. Вот этот самый Зимин и вложил в душу маленького Жоржика зерно любопытства, как-то сказав ему, что это костер старого рыбака Михеича, что днем он спит, а ночью ловит рыбу, и что варит такую уху, какую ни один повар в мире не сварит...

— А вы бы отпросились у воспитателя на ночевку к Михеичу... я бы с вами поехал, — таинственно закончил Зимин.

С тех пор восприимчивый Жоржик жил мечтой ночной рыбалки у Михеича и ждал только момента, когда подполковник Соловьев будет в хорошем настроении. Своим детским умом он считал, что успех или неуспех его просьбы всецело зависит от настроения воспитателя. Он пылливо следил за Владимиром Федоровичем и мучился тем, что вот уже два дня он был каким-то колючим, щетинистым. Вчера он наказал Джаврова, и даже немного кричал на него, что бывало

с ним очень редко, а сегодня посадил в карцер известного шалуна Дагмарова, правда, через час он его освободил, но сегодня нельзя, разочарованно думал маленький рыбак. Наступил третий день, и Жоржику показалось, что Владимир Федорович такой же добрый, ласковый, солнечный, как сегодняшний июньский день. Он улучил минуту, и когда воспитатель сидел в плетеном кресле и читал газету, решительно подошел к нему.

— Господин подполковник, у меня к вам просьба!

— Какая? — спросил воспитатель, опуская на колени газету.

— Отпустите меня сегодня ночью на ночную рыбалку к Михеичу... Он живет за рекой... Зимин согласился ехать со мной...

— Никаких ночных рыбалок... никаких Михеичей... можешь итти, — сухо ответил воспитатель, снова уткнувшись в газету.

По твердому тону ответа Жоржик понял, что все его мечты о рыбалке лопнули, как мыльный пузырь. Нерешительно потоптавшись на месте, он уныло побрел в лес

Михеич... рыбалка... уха... уже представлялись Жоржику в каком-то запретном ореоле загадочности и с каждым следующим днем все больше и больше разъедали его воображение. В детском пытливом мозгу, один за другим, рождались дерзкие планы, вплоть до ночного побега из лагеря, которые безжалостно разбивались о суровую действительность. Последней надеждой Жор-

жика был его воспитатель полковник Гусев, через неделю сменявший подполковника Соловьева. Полковник Гусев был бездетным. Это было тяжелой драмой всей его жизни. Отличный строевой офицер, он оставил 27-ю артиллерийскую бригаду и, чтобы быть ближе к детям, выхлопотал перевод в Симбирский кадетский корпус. Он и его жена, Елена Константиновна, привязались к маленькому Жоржику, по праздникам брали его к себе в отпуск и окружили его родительской лаской, заботой и любовью. В первый же день по приезде Дмитрия Васильевича в лагерь, Жоржик обратился к нему с той же просьбой. Он не утаил от воспитателя, что подполковник Соловьев не разрешил ему ехать к Михеичу.

— Не разрешил, значит нельзя, — спокойно ответил полковник Гусев, глядя по голове своего любимца и, встретившись с его безнадежно грустными глазами, ласково прибавил: — Иди... Я подумаю... подумаю...

Не чувствуя под собой ног, счастливый Жоржик возвращался в барак. Ему неудержимо захотелось пойти к подполковнику Соловьеву и в лицо сказать ему — «петух». Он уже направился к даче Соловьева, но вдруг остановился в раздумии... — Нет, если я это сделаю, рыбу мне придется ловить в карцере, а не у Михеича, — вслух проговорил он и пошел в сторону барака. За три года он своим детским умом хорошо изучил своего воспитателя. Ему так хорошо знакомо это слово «подумаю», после которого он много раз бывал

счастлив. Жоржик не пошел в барак, а спустился в лес, сел на свое любимое полуистлевшее дерево и мысленно стал перебирать в памяти все «подумаю». «Подумаю», — с улыбкой сказал Дмитрий Васильевич в одно из воскресений, когда Жоржик, будучи кадетом первого класса, застенчиво спросил его, нельзя ли ему купить маленький, совсем малюсенький аквариум . . . на одну . . . нет, на две рыбки, потому что одной будет скучно . . . Через неделю, когда он вошел в свою комнату, первое, что бросилось ему в глаза, был большой аквариум. Целый день просидел он около него, наблюдая сквозь мутную зелень стекла веселую игру золотых, серебряных, светящихся рыбок . . . Но рыбки очень скоро, если не надоели, то как-то приелись Жоржику.

Наступила зима . . . Жоржик открывал северный полюс . . . Карабкаясь по снежным сугробам, как большие сахарные головы разбросанные в разных местах огромного сада, примыкавшего к зданиям воспитательских квартир, зарываясь в снег, падая с сугробов, Жоржик решил, что не может открыть северного полюса только потому, что у него нет собаки и, вернувшись домой, разрумяненный и мокрый от талого снега, он на вопрос Дмитрия Васильевича, — где он так промок, — ответил вопросом: — Дмитрий Васильевич, можно мне купить собаку? . . Я не могу открыть северного полюса.

— П о д у м а ю , — ответил воспитатель.

В очередную субботу Жоржика радостным ла-

ем встретил огромный рыжий «надворный советник» — Дагор. И сколько за три года пребывания в корпусе было этих «подумаю». Жоржик и сейчас был уверен, что на рыбалку к Михеичу он поедет, а полковник Гусев действительно думал, так как инструкция корпуса категорически запрещала отпускать кадет куда-либо ночью. Через два дня полковник Гусев вызвал к себе Зимина и, дав ему точные инструкции, отпустил Жоржика к Михеичу под видом городского отпуска с ночевой.

Тихая ночь покоем окутала уставшую за день землю. По синему небу, окруженная со всех сторон мелкими блестками мерцающих звезд, спокойно плыла луна. Волга словно дремала, когда Жоржик и Зимин на бело-синей корпусной лодке отчалили от берега. Лодка легко поплыла по спокойной глади воды. Нудный скрип правой уключины далеко разносился по воде, а от равномерного взмаха весел по обе стороны лодки образовывались маленькие водоворотики. Они весело играли серебряными складками и растворялись в течении реки. От воды пахло водяным теплом. Лодка все время держалась в створе тусклого костра на противоположном берегу — это и был костер Михеича.

Рыбаки только что вытянули бредень, в коричневых мокрых клетках сетки испуганно трепыхалась серебряная рыба. Только что вылезший из воды, молодой рыбак поддерживал верхний край бредня, а высокий

жилистый старик с кривой ногой искусно и быстро выгребал рыбу; крупную бросал далеко на песок, мелкую обратно в воду.

«Михеич», — таинственно сказал Зимин, держа за руку Жоржика.

— Никит!.. Рыбу разложи по садкам, да сеть промой, — тоном приказа сказал Михеич и только тогда, сильно хромя на правую ногу, подошел к прибывшим.

— Вот гостя привез вам, Михеич, — весело проговорил Зимин, здороваясь с рыбаком.

— Гостю всегда рады, — радушно ответил Михеич, обнимая худенькие плечи Жоржика влажной, пахнувшей сырой рыбой, рукой.

— А как тебя звать сынок? — ласково спросил он, заглядывая в глаза Жоржика и касаясь путанной бородой его лица.

— Жоржик!

— Как?

— Егорий, — пояснил Зимин.

— Егорушка... Егорушка, — медленно, глядя в далекую синь неба, тихо проговорил Михеич, и каждая нотка его голоса звучала безотчетной грустью, безнадежной тоской. Все молча подошли к тлеющему костру. На треноге висел закопченный жирной сажей чугунный котел, в котором чуть кипела какая-то коричневая жидкость.

— Садись, сынок, — указал Михеич на врытый в песок пенек и, бросив в тлеющие угли четыре вяленых воблы, сам присел возле Жоржика.

Он низко опустил голову и чуть слышно сказал:

— Сын у меня был, Егорушка... последыш... весь в меня... и Волгу любил... В Японскую погиб, — грустно закончил Михеич и, вынув из углей воблу, добавил: — На-ка, сынок, побалуйся, пока уха будет готова... Вобла первая рыба для рыбака...

Жоржик полулежа ел отмякшую от огня рыбу, которая казалась ему необыкновенно вкусной. Уютно и тепло было у тлеющего костра... Никита и Зимин полулежали по другую сторону. Михеич имел какую-то особенную манеру говорить. Он был не многословен, а между фразами делал большие паузы, словно давая слушателю возможность правильно понять, оценить и ясно представить себе сказанное. Он говорил просто, без какого-нибудь нажима на слова, а они дышали то безысходной тоской, то радостью и весельем, то лаской и любовью.

— Михеич, расскажите что-нибудь про себя, — застенчиво попросил Жоржик.

— Что про себя?.. Вот когда был молод, звали Михеем, а стал старик, все зовут Михеич, — наклоняясь к лицу Жоржика с улыбкой сказал рыбак, и маленький Брагин почувствовал на себе доброту его ясных глаз.

— В лейб-гвардии Павловском служил... Туда ведь по носу принимают... Как курносый — в «Павловский Его Величества Павла 1-го полк», — закончил он, в шутку ударив себя по носу щелчком.

— За разум да беспорочную службу Царю Батюшке . . . до старшего унтер-офицера достиг . . . Царя да наследника сколько раз видел, вот так, как тебя сейчас вижу, Егорушка . . . Он остановился, и Жоржик ясно представил себе Михеича рядом с таким же маленьким, как он, наследником.

— Под началом белого генерала с турком-нехристом воевал . . . Под Плевной ногу-то ядром и перешибло, — закончил он, указывая рукой на изуродованную правую ногу. Вдруг он вскинул вверх свою лохматую голову, вслушался в тишину ночи и тоном приказа сказал: — Никит, подтяни челнок . . . Фельдмаршал Суворов идет ! . .

Никита быстро вскочил и на сильных упругих ногах побежал к воде. Его примеру последовал Зимин, и обе лодки были подтащены ими глубоко на песок. Все устремили взоры на реку и скоро из-за мыса на фарватере реки показался лучший пароход Волги — «ФЕЛЬДМАРШАЛ СУВОРОВ».

Белый красавец гордо резал спокойную гладь воды, симметрично бросая по обе стороны большие, ровные волны, увенчанные на гребнях кружевами белой шипящей пены . . . «СУВОРОВ», — первым нарушил тишину Михеич.

— Памятники надо ставить фельдмаршалу . . . да в селах, в деревнях . . . откуда солдат идет . . . чтоб каждый знал, кто такой Суворов был . . . Суворовым Россия побеждать будет . . . а они пароходы строят . . .

Он молча вынул из холщового мешка каравай

ржаного хлеба, кривым, сильно сточенным ножом отрезал каждому по большому ломтю, дал по деревянной ложке и, перекрестясь широким крестом, склонил голову в короткой, молчаливой молитве.

— А ну, сынок, отведай моей ухи, — с улыбкой сказал он и, стукнув ложкой по краю чугунного котла, первый зачерпнул ложку горячей наваристой ухи.

Все ели с аппетитом. Крепкая, сильно наперченная, слегка пахнувшая дымком, уха обжигала непривычные губы Жоржика, а по всему телу разливалась какая-то приятная теплота, то ли от ароматной ухи, то ли от близкого соседства с таким простым и хорошим Михеичем.

.

— Ну, а теперь, сынок, спи, — отечески тепло сказал Михеич, снимая с костлявых плеч коричневый короткий бушлат и укрывая им Жоржика.

— Мне не холодно, Михеич...

— Не холодно, так будет холодно... Ночи подле Волги всегда прохладные...

— А вы про Волгу расскажите? — спросил Жоржик, поудобнее завертываясь в бушлат, от которого так приятно пахло Михеичем.

— А ты слушать будешь?

— Буду... буду...

— А мы так порешим... когда я остановлюсь... ты должен сказать... «слушаю»... и я буду продолжать... а не скажешь... замолчу.

— Хорошо!.. Только про Волгу, — тихо ответил Жоржик, устремив взгляд в розовую теплоту тлеющих углей.

— Что Волга?.. Волгу надо понять... А поймешь — полюбишь, — начал Михеич, и в каждом медленном сказанном слове чувствовалась та же грусть, которую испытал Жоржик, когда Михеич говорил о сыне Егорушке.

— С л у ш а ю...

— Полюбишь за то, что она русская... и берега моет русские... и кормит нас русских... и вода в ней русская... и рыба русская...

Он остановился, достал кисет и стал набивать табаком длинную прямую трубку.

— С л у ш а ю, — тихо сказал Жоржик, глядя на сосредоточенное лицо Михеича, подсвеченное снизу мягким светом медленно угасавших углей. От позднего времени тяжелые веки Жоржика закрывались все чаще и чаще, но, пересиливая сон, он жадно вслушивался в басовые спокойные нотки голоса Михеича, чтобы еще раз сказать — «слушаю».

— Вот муть пошла по России, — начал Михеич, пуская изо рта сизый, евший глаза, дым.

— Нехорошо... Народ мутят против смиренного Божьего помазанника... А Бога потеряют... не хорошо кончится...

Жоржик не совсем понимал слова Михеича... Какая муть?.. Почему может кончиться плохо?... Для кого плохо?.. Ряд непонятных вопросов роился в его детском мозгу, но сквозь сон он от-

лично помнил, что он что-то должен сказать, иначе Михеич остановится, и он не услышит самого главного.

— С л у ш а ю , — как тихий шелест донеслось до Михеича угасшее слово засыпающего Жоржика.

. — Вот и ты, Егорушка, может до генерала дойдешь, а куда забросит тебя жизнь, сам того не знаешь... и никто не знает... а может муть выбросит неизвестно куда... далеко, далеко от Волги...

— С л у ш а ю

И вспомнишь тогда Волгу... Руками обхватишь седую голову... и из старых глаз генеральские слезы закапают... а ты плачь... это слезы хорошие... за Волгу... Она услышит... Волгу надо понять...

— С л у ш

. Летняя короткая ночь уходила. Чуть заметно розовел восток... По реке стелился молочный туман, предвестник погожего дня. Голубело небо, по верхушкам прибрежных ив скользнули первые лучи солнца... В безпредельном лазурном просторе начался новый день. Две серые цапли с достоинством опустились в тихую заводь... В испуганно быстром полете потянули суетливые криквы... Одинокий ворон, каркая и озираясь по сторонам, летел за добычей... Где-то в камышах тишину нарушил первый выстрел... Суетный день вступил в свои права. Михеич засунул под бушлат спящего Жоржика

свою голову и шопотом сказал: — Егорушка!... Егорушка!... Заря занялась... Рыбу пора ловить...

Жоржик вскочил, детскими кулаченками протер заспанные глаза и, повернувшись к Михеичу, виновато проговорил: — Я все слышал, Михеич... А это правда, что я буду генералом?

Михеич легко подхватил хрупкого Жоржика на крепкие жилистые руки и, направляясь к воде, весело ответил: — Дойдешь, Егорушка... дойдешь... До Суворова не достигнешь... а до генерала дойдешь... Он бережно опустил Жоржика на сырой песок и со словами — «Ты погодь, сынок... один улов... скоро обратно будем», — направился к лодке, загруженной рыбацьею сетью. Подле лодки, по колено в воде, стояли голые Никита и Зимин.

Рыбаки потянули бредень: Никита и Зимин вплавь один конец, Михеич на лодке — другой. Утренний улов был хороший. Жоржик, воспользовавшись тем, что Зимин одевался, подбежал к Михеичу и с детской радостью помогал ему выбрасывать в воду мелкую рыбешку. Зимин обрушился на Жоржика рядом нотаций: за промоченные ноги, за испачканную рыбой рубаху...

— А ты что такой строгий?... Ведь ребенок?... Радость-то какая, почитай первый раз живую рыбу в рученках держал, — остановил Михеич разбушевавшегося Зимина.

— Ехать пора, Михеич, — сконфуженно ответил дядька, беря за руку Жоржика.

— Спасибо, Михеич, — грустно сказал Жоржик.

— Тебе спасибо, что старика проведаль... А ты попроси начальника, чтобы на неделю тебя к Михеичу отпустил... Вот тогда поговорим о Волге, — закончил он, обнимая Жоржика и застенчиво касаясь бородой его щеки.

Сели в лодку... Зимин энергично заработал веслами, лодка заскользила по спокойной поверхности воды. Жоржик сидел на корме. Он повернулся в сторону берега и ясно видел, как Никита, на корточках, старательно промывал сеть, а в стороне, на кривой ноге, стоял грустный Михеич... Он через маленькие промежутки времени поднимал вверх руку и как-то безнадежно опускал ее, словно навсегда прощался с ним.

Вот опять поднял... опять опустил... Вот он уже стоит на воде... поднял руку... опустил... навсегда простился...

Лодка подошла к лагерным причалам...

МАЛЬСАГОВ В ЛАЗАРЕТЕ

Искандар Мальсагов, маленький, шустрый татарченок, с острыми черными глазками, был одноклассник Брагина. По многим диаметрально противоположным причинам он был общим любимцем класса. Со всеми он умел держать ровные, хорошие отношения, в ссорах всегда стоял на стороне слабого, чтит Магомета и Коран, но в силу чувства товарищества добровольно простаивал с друзьями всенощные и литургии в корпусной церкви. Он был разносторонне способным мальчиком, прилично шел по всем предметам, но в свои 14 лет охватывал их не усидчивостью или зубрежкой, а каким-то удивительным и незаметным для всего класса — «налетом». Налету прочтет 2—3 страницы заданного по истории урока, или за спиной первого ученика Алмазова проследит решение задачи по алгебре, а на другой день поражает класс, если не блестящими, то вполне хорошими ответами по обоим предметам. Но еще больше он поражал класс своей необыкновенной виртуозностью в шалостях и проказах. Он был

настолько изобретателен в своих личных шалостях, что часто ставил в тупик не только весь класс, но преподавателей и воспитателей. Особенностью его проказ было то, что они никогда не были злостными, но всегда дышали мальчишеской дерзостью, оригинальностью и, в случае их открытия, юмором. Будучи вызван отвечать урок преподавателем немецкого языка Адольфом Зульке, он, отлично зная урок, мог подойти вплотную к нему, несколько изменить голос и, учитывая его слепоту, не позволявшую ему разглядеть лицо кадета, уверенно доложить: — «Хэр Зульке! Сегодня мусульманский праздник и Мальсагов, как татарин, отпущен в мечеть». При гробовом молчании удивленного класса он делал четкий поворот и шел на свое место. Доверчивый Зульке вызывал другого кадета. Преподавателю французского языка Дусс он мог предложить вместо ответа урока прослушать анекдот о том, как он, Дусс, преподает кадетам французский язык. Хорошо владея языком еще из дома, Искандар, под дружный хохот класса и самого Дусса, рассказывал свой анекдот, идеально копируя манеру, жесты, интонацию голоса и ломанные русские слова преподавателя. Но это были скрытые шалости, не доходящие до воспитателя и остававшиеся безнаказанными. У Мальсагова была нескончаемая цепь мелких проказ, за которые он хронически стоял под лампой, оставлялся без сладкого, изредка знакомился с карцером и чаще всего лишался отпуска. Создавалось впечатление, что

Мальсагов ведет точную статистику своих шалостей и все время держится на каком-то среднем уровне, умышленно избегая подходить к опасной и нежелательной грани возможного исключения из корпуса, или же перевода в Вольский исправительный корпус — в дисциплинарный батальон, как называли его кадеты. Вот почему в жизни Мальсагова наступали длительные периоды затишья, когда он становился примерным кадетом, отлично учился, был далек от каких-либо шалостей, чем приводил в полное недоумение одноклассников, преподавателей и воспитателя. Полковник Гусев с затаенной радостью наблюдал за переломом, происшедшим в Мальсагове, но психолог детской души ошибался. Искандар просто выравнивал генеральную линию своих проказ и наказаний.

Своим злейшим врагом из преподавателей Искандар считал требовательного и строгого преподавателя истории — Василия Степановича Старосевильского. Старосевильский, принимая новый класс, всегда обращался к кадетам с одним и тем же вступительным словом: жестким, коротким и ясно определяющим требования преподавателя.

— Хотя вы учитесь по 12-и балльной системе, высшим баллом для вас я считаю 10. Все вы лодыри и лентяи и для того, чтобы вы знали хоть часть моего предмета, каждый свой урок я буду вызывать строго по алфавиту 4-х кадет. Никакие извинения о незнании урока мною приниматься не будут. За неудовлетворительный ответ «кол».

Немногословное, немного резкое для первого знакомства вступление Старосевильского с одной стороны производило отрицательное впечатление, с другой давало какое-то послабление в изучении предмета. Это послабление было, однако, кажущимся, так как беспощадными колами и повторными лекциями Старосевильский легко достигал хороших результатов в знании читаемой им русской истории. Искандар совершенно не был в натянутых отношениях с русской историей, он даже любил и хорошо знал ее, но его шаловливый детский ум работал над тем, как, зная урок, не ответить его, как внести путаницу в алфавит отвечающих. Старший кадет Алмазов накануне каждого урока истории выкликал 4 фамилии кадет, напоминая, что на завтра у них назначена приятная или неприятная встреча с «вонючкой-Старосевильским».

Так было и сегодня. Только кадеты сели на вечерние занятия, Алмазов торжественно возгласил: — Завтра по истории отвечают: Лепарский, Лисичкин, Мальсагов, Муратов.

Наступило казенное завтра... Труба горниста...подъем... умывалка... утренний осмотр.. молитва, чай, французская булка, первый урок, перемена, второй урок, перемена... через пять минут урок истории...

Мальсагов знает урок, знает, что сегодня ему отвечать, но еще вчера им овладел приступ мальчишеского задора, овладело непреодолимое желание блеснуть перед классом новой шалостью, ус-

пех которой, по разумению Искандара, всецело находился в руках Алмазова. У задней стены класса в правом углу стоял воспитательский шкаф, в котором хранились учебники, учебные пособия, тетради, бумага, канцелярские принадлежности. Один ключ находился у воспитателя, второй у старшего кадета. Психологически Мальсагов поступил совершенно правильно. Он никому не открыл своего плана, но подвел его к опасной грани последних трех минут, когда объявил Алмазову, что урок не знает, и просил закрыть его в шкаф. Алмазов пробовал доказывать свою ответственность, но под давлением всего класса согласился. Быстро было разложено по партам содержимое воспитательского шкафа, вынуты две полки, и за торжествующим Мальсаговым на час закрылась дверь его очередной шалости.

— Когда «вонючка» вызовет меня, скажи, что я в лазарете, — глухо донеслись из шкафа слова Мальсагова. В дверях появился Старосевильский.

— Встать смирно! — прозвучали слова Алмазова, едва успевшего отскочить от шкафа.

— Господин преподаватель, в 1-ом отделении 4-го класса все обстоит благополучно. По списку кадет 45, один в лазарете, на лицо 44, — несколько волнуясь, отрапортовал Алмазов.

— Садитесь, — направляясь к кафедре безразлично проронил Старосевильский. Он, как всегда, не торопясь развернул классный журнал, сверху положил всем знакомую черную книжку, по которой вызывал кадет, повесил на доску при-

несенную им диаграмму и, опершись на длинную указку, начал лекцию. Читал Старосевильский сочно и увлекательно, чеканя каждое слово, отчего фразы и мысли приобретали свою выпуклость и колоритность. Сегодняшняя лекция была посвящена царствованию Петра Великого, его реформам и войне со шведами. В середине лекции в класс неожиданно вошел полковник Гусев и, осторожно ступая, направился к своему шкафу. В руках воспитателя серебром блеснула связка ключей. Сорок четыре головы, оторвавшись от реформ Великого Петра, инстинктивно повернулись направо. Тихо щелкнул замок... Воспитатель на половину приоткрыл дверцу шкафа, с минуту постоял и, не обнаруживая на лице тени какого-либо удивления, закрыл дверцу и сел на свободное место передней парты. Увлеченный собственным красноречием, Старосевильский с подъемом красочно закончил лекцию, конечно, не почувствовав, что мысли всех 44 слушателей были не на полях Полтавской битвы, а в воспитательском шкафу, дальнейшая история которого интересовала их больше, чем Петр Великий с его великими реформами.

Старосевильский сел за стол, развернул маленькую черную книжку и последовательно вызвал Лепарского и Лисичкина. Оба кадета, к радости преподавателя, дали вполне удовлетворительные ответы и очень скоро были отпущены на свои места.

— Мальсагов! — прозвучало в воздухе.

Могильная тишина была ответом на вызов преподавателя.

— Мальсагов! — чуть раздраженно повторил Старосевильский, поверх очков отыскивая в классе знакомое лицо кадета.

— Мальсагов в лазарете, — спокойно сказал полковник Гусев, сразу разрядив атмосферу. Муратову пришлось не легко. Старосевильский добросовестно погонял его по заданному уроку, используя для этого также и время, предназначенное для Мальсагова.

Резкий звук трубы возвестил окончание урока... Старосевильский, пораженный небывалой тишиной, покинул класс. Полковник Гусев продолжал невозмутимо сидеть за партой. В воздухе слышалось жужжание мухи.

— Ну, что же, освобождайте пленника, — спокойно сказал воспитатель.

Никто из кадет не сдвинулся с места.

— Умели посадить, имейте мужество и освободить, — так же спокойно продолжал полковник Гусев, пристально глядя на Алмазова.

Низко опустив голову, покрасневший Алмазов быстро приблизился к шкафу, открыл дверцу, и через секунду перед затаившим дыханием классом предстала потная фигура неудачника гениальной шалости.

— Мальсагов, за мной, — строго бросил воспитатель, покидая класс.

Мальсагов вернулся в класс только через час. Вид его был подавленный, и на многочисленные

расспросы кадет он сухо ответил, что больше никогда не сядет в шкаф и категорически отказался удовлетворить любопытство друзей, о чем так долго говорил с ним воспитатель, и как наказал. Как это часто бывает в молодости, история с Мальсаговым быстро забылась, уступила место другим моментам жизни и всколыхнулась снова в субботу, когда Искандар, к удивлению всего класса, был отпущен в отпуск.

Полковник Гусев был гуманным, добрым и мягким человеком. Он редко наказывал кадет, и прежде чем наказать старался воздействовать на проказника словом, добиться его раскаяния и сознания вины. Он считал, что теплое, разумное слово, сказанное с глазу на глаз с виновным, в конечном результате приносит большую пользу, чем данное с горяча наказание. Эти гуманные начала в воспитании кадет не разделялись большинством воспитателей корпуса, и совершенно не понимались самими кадетами, считавшими, что каждый открытый проступок, так или иначе, должен быть наказан. Молодость просто не понимала, что своими гуманными мерами воспитатель постепенно воспитывал в них любовь к правде, пробуждал в них честь, которая никогда не боится сознаться в правде. Молодость жила своей неглубокой психологией, выдвигающей на первый план вопрос — «почему не наказан?»

В очередное воскресенье Брагин, находясь в отпуску в доме полковника Гусева, во время игры с ним в шахматы, спросил воспитателя:

— Дмитрий Васильевич, а почему вы не наказали Искандара? Ведь он же совершил не хороший поступок...

Воспитатель ответил не сразу, он задумался, словно решая сложный ход своей туры, далекая улыбка застыла на морщинистом лице, в усталых глазах блеснул огонек, мысли понеслись в Нижегородский, графа Аракчеева, кадетский корпус... детской шалостью коснулись воспитательского шкафа...

Передвигая туру, Дмитрий Васильевич с виноватой улыбкой ответил: — А как я мог наказать его, когда я сам сидел в таком же шкафу.

— Правда, Дмитрий Васильевич? — спросил пораженный Брагин.

— Правда, только на уроке тригонометрии... Я был старше Мальсагова, — виновато ответил воспитатель и, желая предотвратить дальнейшие расспросы, добавил: — Я взял с Мальсагова честное слово, что он никогда этого больше не повторит... и я уверен, что он сдержит данное им слово.

Мальсагов сдержал слово. Он больше ни разу не пользовался воспитательским шкафом, как вынужденным лазаретом, но неоконченная война с Старосевильским родила в его голове новый стратегический план, и его, когда он не хотел отвечать урок истории, завертывали в огромную карту Европы и бережно клали у задней стены класса, в правом углу.

— Дурак, шурум-бурум... Лучше выучить

урок, чем потным бездыханным трупом час лежать на Франции или Германии, — как то в сердцах сказал его закадычный друг Коля Полиновский.

— Много ты понимаешь... Я изучаю Европу... будущие театры военных действий...

Европы, конечно, он не изучил, но судьбе было угодно ближе познакомить его с Францией. В первую мировую войну Искандар Мальсагов прибыл в союзный Париж с русским экспедиционным корпусом генерала Лохвитского.

На полях Франции, отстаивая честь Франции, честь корпуса, честь русской армии, — Мальсагов погиб смертью храбрых.

ЭКЗАМЕН

25-го апреля 1-ое отделение 3-го класса держало переходной экзамен по предмету — Закон Божий. Общий уровень познаний класса был хороший, что, конечно, надо было отнести не за счет серьезного отношения 13—14-летней детворы к предмету, а за счет того обаяния, которым пользовался, хотя и строгий, но всеми любимый о. Михаил. Пройденный курс был разделен на 30 билетов. Кадеты получили на руки отпечатанные конспекты и обычную неделю на подготовку. Только накануне экзамена князь Вачнадзе сознанся друзьям, что вызубрил наизусть всего один билет № 3 — «Двунадесятые праздники», так как всю неделю вместе с однопартником Преображенским был занят дрессировкой двух белых мышек.

— Вы ска... скажи... те, чтобы... о... они... на ме... меня... не... непу... ска... ли... мы... мышей... я... боюсь, — взмолился заика Мельгунов.

— Какой же ты кадет... они же белые...

— Все равно боюсь . . . про . . . проти . . . вные . . .

Сразу был найден способ спасения дрессировщика. Кадеты хорошо знали, что о. Михаил, вольно или невольно, никогда не мешал билетов, и широким жестом руки развертывал их по зеленому полю сукна. На экзаменах кадет вызывали строго по алфавиту, и было решено, что Алмазов, первый ученик класса, возьмет первый билет справа, Брагин последний билет слева и Будин один из средних билетов. Каждый должен был громко назвать номер своего билета, и таким образом для дрессировщика открывалась схема расположения билетов. Накануне экзамена архиерейское подворье известило канцелярию корпуса, что Преосвященный Гурий выразил желание присутствовать на экзамене. Архиерейская новость добавила лишнюю порцию нервности самолюбивому дрессировщику, и последние три часа перед сном он углубился в объемистый учебник и второпях проглатывал страницу за страницей. Ночь он провел беспокойно и на утро встал с таким сумбуром в голове, что даже путался в вызубренном наизусть билете.

— А ты . . . пу . . . пус . . . ти . . . вме . . . вместо . . . се . . . се . . . бя . . . мы . . . мы . . . мы . . . шек . . . они . . . лу . . . лучше . . . те . . . тебя . . . зна . . . зна . . . знают . . . дву . . . на . . . надеся . . . тые . . . праз . . . дники, — издевался над другом Мельгунов.

.

9 часов утра . . . Все кадеты на местах . . . Настроение взволнованно приподнятое . . . Большой экзаменационный стол покрыт зеленым сукном.

— Встать смирно! — раздается команда старшего кадета Алмазова.

В класс входят о. Михаил, настоятель Троицкого собора протоиерей Фивейский, отец дьякон, полковник Гусев и Александр Михайлович Пузырев, последний только для того, чтобы дать тон исполлатчикам: Полиновскому, Брагину и Рудановскому. Взор Вачнадзе прикован к мясистой руке о. Михаила с пачкой квадратных, белого картона, билетов. Батюшка предложил место о. Фивейскому и опустился на стул, стоящий рядом с креслом, предназначенным для владыки. Отец Михаил через очки посмотрел на передние парты, дольше обычного остановил свой взгляд на бегающих глазах Вачнадзе и, как обычно, веером развернул билеты по зеленому сукну. Он не торопился с началом экзамена, и трудно сказать, что руководило им в умышленном ожидании: желание ли отдать должное высокому сану правящего епископа, или желание блеснуть познаниями трех лучших учеников класса: Алмазова, Брагина и Будина. По предыдущим годам о. Михаил хорошо знал, что обремененный массой дел, владыка долго на экзаменах не задерживался. Через минуту в дверях показалась тучная фигура дежурного по роте воспитателя подполковника Стежинского, шопотом возвестившего, — «Его Преосвященство!» Духовенство поспешило навстречу архиерею, а

Пузырев выстроил трех исполлатчиков и дал тон. — «Ис полла эти деспота», — стройно пропело трио.

Опираясь на большой посох, в класс вошел сгорбленный старичек в черном клобуке в сопровождении настоятеля кафедрального собора и кудлатого, упитанного иподьякона. Иподьякон, поцеловав воздух около немошной руки епископа, привычным жестом принял его посох. После благословения владыки, экзаменационная комиссия села за стол.

Отец Михаил развернул классный журнал и четко вызвал: — Алмазов, Брагин, Будин. Кадеты встали из-за парт, подошли к экзаменационному столу, и через секунду в тишине последовательно прозвучало:

— Билет № 30.

— Билет № 1.

— Билет № 18.

Вачнадзе был спасен. Не было никаких сомнений в схеме порядкового расположения билетов. Алмазов блестяще ответил свой билет и вполне удовлетворил владыку разумными ответами на заданные вопросы. Брагин и Будин так же ответили хорошо. Отец Михаил, поглаживая бороду, умышленно сделал большую паузу, словно напоминал владыке о массе, ожидающих его дел, и не совсем охотно проговорил: Вачнадзе, Воронов, Голубев.

— Билет № 3, взволнованно пролепетал Вачнадзе.

— Билет № 7, билет № 11, слышались четкие голоса кадет.

— Ну, Вачнадзе, что у тебя? — спросил батюшка, беря билет из похолодевших рук кадета.

— Праздники, батюшка... праздники...

— Перечисли мне все двенадцатые праздники, которые ты знаешь...

— Праздники, батюшка... Рождество Христово — 25-го декабря, Сретение Господне — 2-го февраля... Приведение Господне...

— Что?.. Какое такое Приведение Господне? — быстро проговорил ошеломленный ответом кадета и покрасневший до корня волос батюшка.

— Простите, батюшка...

— Что простите, батюшка... Начинай сначала... овладей собой... не волнуйся...

— Праздники, батюшка, глотая слюну, снова начал Вачнадзе. Он ясно видел перед глазами открытую страницу учебника с двенадцатыми праздниками, по которым в ту и другую сторону бегали две шустрые, белые мышки.

— Праздники, батюшка... праздники... Рождество Христово — 25-го декабря, Сретение Господне — 2-го февраля, Приведение Господне...

— Какое такое Приведение Господне? — упавшим голосом повторил о. Михаил, и скосив глаза в классный журнал, спокойно начал: — Ну вот, Вачнадзе, в году ты занимался прилежно, имел 9 баллов, а к экзамену не приготовился... Выдумал какое-то Приведение Господне, когда такого праздника нет...

Владыка Гурий, низко опустив голову, молча слушал замечания законоучителя, когда с задней парты раздался голос заики Мельгунова, поднявшего руку и повторявшего: — Пре... Преобра...

— Вот, Мельгунов в году ничего не делал, а к экзамену приготовился, радостно сказал батюшка, учтя, что правильное название праздника Мельгуновым, вернет самообладание взволнованному Вачнадзе и ослабит неприятное впечатление создавшееся у архиерея.

— Ну, Мельгунов, говори... порази всех...

— Пре... Преобра... браже...

— Ну... не томи... говори, — поощряя Мельгунова, нетерпеливо сказал отец Михаил.

— Прео... бра... женский... пу... пускает... на ме... меня... мыш... я... бо... боюсь...

Владыка еще ниже опустил голову, желая скрыть перед классом то ли гнев, то ли мирскую улыбку, не подобающую его высокому сану. Ключарь собора едва сдерживал смех. Батюшка был подавлен происшедшим.

— Отец Михаил, позовите кадета сюда, — кротко сказал владыка.

— Мельгунов, иди сюда, — с досадой в голосе приказал о. Михаил, предчувствуя дальнейший позор.

Кадет, не сознавая своей вины, быстро подошел к экзаменационному столу.

— Подойди ко мне, — немощно тихо сказал епископ.

— Мельгунов обошел стол и остановился возле архиерея, лицом к классу.

— Как тебя зовут?

— Ко... Констан... тин... сильно заикаясь ответил кадет.

— Константин, повторил владыка, кладя прозрачную, сухую, с зелеными четками, руку на голову кадета.

— Ты знаешь, Константин, прекрасный праздник Преображения Господня?

— Зна... знаю...

— Скажи мне, как умеешь, в чем заключается христианская сущность этого праздника... о чем нам напоминает этот праздник...

Мельгунов сильно заикаясь и путаясь, изложил перед экзаменационной комиссией и затаившим дыхание классом свои несложные познания праздника.

— Хороший мальчик... хорошо знаешь праздник, — кротко сказал епископ Гурий, ставя в журнал в графу Мельгунова 11 баллов. Владыка благословил кадета, поднес к его губам безжизненную добрую руку и через стол обратился к Вачнадзе,

— Как тебя зовут?

— Николай...

— Теперь ты, Николай, расскажи мне, что знаешь, про праздник Преображения Господня.

Овладевший собой Вачнадзе, к удивлению епископа, о. Михаила и всей комиссии, без остановки ответил вызубренный им на зубок праздник. Ведь он только путался в названии праздника и очевид-

но потому, что по этому празднику бегали белые мышки.

— Хорошие познания класса, обращаясь к о. Михаилу, смиренно сказал поднимающийся с кресла епископ Гурий.

— «Ис полла эти деспота,» — начало трио, в которое включилось духовенство.

Сгорбленный старичек, показавший пример христианской доброты и кротости, покинул класс, оставив в сердцах присутствующих след неугасимой памяти.

МИСС ПЕРСИ ФРЕНЧ

В семи верстах от Симбирска, влево от железной дороги, по которой в сторону Рузаевки топят скорые и тяжело ползут товарные поезда, привольно раскинулось красочное имение помещиков Киндяковых — «Киндяковка». Широкая шоссе́йная дорога ведет в прохладу смешанного леса, с западной стороны окаймляющего двухэтажное белое здание с крытой верандой, фасадом смотревшей на быстрые воды Волги, бегущие вниз. Перед домом разноцветными огнями редкостных роз, тюльпанов, ириса, петунии, львиного зева, анютиных глазок, горел большой цветник. Прямо за ним белизной сверкал расчищенный березняк, улыбающийся молодым побегам ольхи и клена, и подходивший вплотную к обрыву, таящему в себе легенду о каком то страшном злодеянии. С этого обрыва открывалась широкая панорама Волги, а в ясные, чистые дни даль меловых гор Сенгилея, за которыми синел горизонт последними отрогами Жигулей. Весной, Волга бурно выходила из берегов и бросала по сторонам маленькие и большие зеркала воды, соединенные сереб-

ряными нитями смеющихся солнцу протоков и ручейков. Волга щедро раздавала дары избытка своих вод, чтобы напоить красотой и душистой свежестью будущие просторы заливных лугов, утолить жажду путника, напоить изнемогающий от летнего зноя скот, дать жизнь рыбам, да несмолкаемым журчанием пошалить с задумчивым лесом. Стоишь зачарованный и взора оторвать не можешь . . . Стоишь подавленный безбрежной водной стихией, могущей в гневе все погубить, разрушить, уничтожить, а она благословенная Волга, как родная сестра земле, кругом несет дары жизни . . .

Влево от здания, если смотреть на Волгу, расположились небольшие, чистенькие постройки служб, к которым сзади примыкал огороженный забором двор с просторной конюшней небольшого конского завода. Вдали на пригорке уютился скотный и птичий двор, огороды и ровными рядами уходили вдаль деревья фруктовых садов.

Далеко за пределами Симбирской губернии и даже в блистательной столице дом Киндяковых почитался гостеприимным, широким, хлебосольным. Киндяковы были на редкость культурными людьми и безграничными почитателями и охранителями отечественной культуры. В стенах их дома находили частый и долгий приют поэты, музыканты, художники, писатели и ученые. Личным другом семьи Киндяковых был И. С. Гончаров, вдохновленный Волгой, написавший роман — «Обрыв».

Единственная дочь . Киндяковых, Соня, по окончании Симбирской гимназии была увезена родителями в Петербург для продолжения музыкального образования и изучения прикладных искусств, к коим имела влечение. Она радушно была встречена чопорной, влиятельной и принятой при дворе теткой, взявшей в свои руки полную заботу о племяннице. Скоро на одном из фешенебельных балов молодой Киндяковой был представлен чиновник английского посольства Максимилиан Перси Френч. Гордый ирландец, с ярко выраженной англо-саксонской красотой, с отличными манерами прирожденного аристократа, оставил в мыслях и сердце Киндяковой больше чем приятное впечатление. Через два года Перси Френч к неудовольствию английского парламента навсегда оставил дипломатическую карьеру, приехал в Киндяковку, где и состоялась пышная свадьба. Вскоре после свадьбы молодые уехали в северную Ирландию, в родовое майоратное имение Френча — «Манууау». Максимилиан окружил молодую жену искренним вниманием, заботой, любовью, но русское сердце молодой Френч не могло понять и полюбить суровой, туманной Ирландии. Скоро ее потянуло на родину, на Волгу, в Симбирск, и объехав Англию, Францию, Италию они через Германию вернулись в Киндяковку. Через полтора года у Перси Френч родилась первая и последняя дочь, названная в честь бабушки, Екатериной.

В Киндяковке начала свой жизненный путь:

полуирландка-полурусская, полукатоличка-полуправославная, Екатерина Максимилиановна Перси-Френч.

Легко и беззаботно текло раннее детство Кати, овеванное любовью, лаской и баловством отца, матери, дедушки, бабушки, да старушки няни Марковны, когда то вынянчившей ее мать, и сейчас являющейся равноправным членом семьи Киндяковых. С шести лет Катю начали учить музыке и, к большому огорчению Марковны, приставили к ней двух гувернанток: француженку и англичанку. К десяти годам Катюша, силою своей усидчивости и способностей, в одинаковой детской мере свободно владела русским, французским и английским языками и родители повезли дочь в Лондон для определения в закрытый аристократический пансион, где суждено было ей получить свое образование и воспитание. Последующие до окончания образования годы, Катюша приезжала в Киндяковку только на три летних месяца составлявшие ее каникулы, и если в Англии, в пансионе, она постепенно познавала, впитывала в себя благотворное влияние английских классиков, на каникулах, в дедовском кабинете, она старалась наверстать потерянное, и все свободное время отдавала русским, любимым из которых был Пушкин. Английский Шекспир и русский Пушкин на всю жизнь оставили глубокий след в душе и сердце будущей мисс Френч.

От отца она постепенно воспринимала любовь к спорту и лошади. Под руководством его она очень

скоро выработалась в отличную, смелую и хорошо знающую психологию лошади, наездницу. Отец, сам страстный любитель конского спорта, обещал дочери, что, по окончании образования, он возмет ее в Москву для участия на concours hippique. Френч сдержал свое обещание, но к спортивному разочарованию Кати, хотя и отлично выезжанная, но не в меру горячая кобылица Linua должна была удовольствоваться третьим призом, уступив первый M-me Захарченко на непобедимом Алькаде и второе M-me Вороновой на рыжем красавце Центурионе.

Волга еще в раннем детстве оставила в душе Кати след какого то обожания, выражавшегося в том, что она с разбега, смело бросала в воду свое хрупкое тельце, радостно ловила взлетающие наверх алмазные брызги, и детскими губами целовала шипящие гребни набегающих волн, ровными перекатами идущих от несущегося на всех парах парохода.

В 17 лет курносенькая, рыжекудрая ирландка отдала свою любовь Волге, впервые переплыв широкую и быструю у Киндяковки реку. Блестяще закончив образование, Катя без особого сожаления простилась с Лондоном, который не любила за его хронические туманы, и вернулась к родным. В Киндяковке она уже не застала ни дедушки ни бабушки, этой зимой ушедших из жизни, как это часто бывает, неожиданно для близких и быстро один за другим. Привыкшая быть занятой, Катя, с радостью согласилась на предложение отца быть

его помощницей в сложном ведении хозяйства большого имения, но этой работе отдавала только день. Вечерами она занималась музыкой или в осиротелом кабинете деда до поздней ночи зачитывалась книгами, расширяя свои познания в области русской истории, литературы и искусства.

Наступила долгая зима... Белый саван холодной чистотой покрыл Волгу, поля, лес, рождая в душе Кати новые восторги, вызванные многогранными красотами русской зимы.

6-го декабря, Френчи вывезли дочь на первый бал, в кадетский корпус. Они приехали с опозданием, концертная программа уже закончилась и в ярко освещенном зале все с нетерпением ждали первых звуков — первого вальса. Полковник Руссэт, личный друг семьи Френч, выбрал из черной массы стоящих кадет лучшего танцора, стройного сухоощавого кавказца, и подвел его к Френчам.

— Познакомьтесь!.. Доверяю вам мисс Френч и уверен, что вы не дадите ей скучать, — с наигранной строгостью сказал воспитатель.

Первые аккорды вальса... Почтительный наклон головы... робкое согласие... близость молодого дыхания... Катя закружилась в первом вальсе... Она сразу остановила на себе внимание всех своей рыжевато-бронзовой головкой и богатым лондонским туалетом, резко выделявшимся на скромном фоне коричневых и серых форм гимназисток.

В продолжении всего бала Катя была искренне весела, много танцевала, смеялась, и казалось

совсем не печалилась тем, что приставленный к ней полковником Руссэт страж, с кавказской ревностью не отпускал ее от себя ни на шаг, словно боялся доверить комунибудь.

Кончился бал... Катя протянула кадету маленькую руку, затянутую белой лайкой перчатки, и застенчиво сказала: — В субботу у нас... Папа все устроит.

Предание сохранило нам только имя этого кадета — «С а н д р о», да говорит, что он принадлежал к старинному и знатному роду воинственного кавказского племени, и приходится гадать, были это один из светлейших князей Дадиани, князей: Макаевых, Шервашидзе, Вачнадзе, или отпрыск благородных и храбрых линий осетин: Датиных, Анзоровых, Арчековых, получивших свое образование в Симбирском корпусе

В дом Френчей вошла молодость. Папа, как обещал Кате, действительно все устроил, и в очередную субботу полковник Руссэт, детально осмотрев мундиры, начищенные до предельного блеска пуговицы и бляхи поясов, отпустил семь кадет своего класса в отпуск к Френчам, предварительно прочитав им лекцию, как подобает держать себя в обществе симбирскому кадету. Сандро был назначен за старшего. Френчи были так внимательны, что прислали за кадетами просторные сани, запряженные тройкой гнедых, рослых лошадей. У Френчей кадеты встретили знакомых гимназисток, так же приглашенных папой через начальницу Якубовской гимназии, и атмосфера

молодой застенчивости и неловкости, сразу уступила место простоте, непринужденности и искреннему веселью. Смеялись, шутили, танцевали, играли в забавную игру, очевидно вывезенную мисс Френч из английского пансиона. Катя поразила всех мастерской игрой на рояле, пробудив в душе не отходившего от нее Сандро, казалось несвойственную его воинственной натуре, лирику . . . лирику музыки, а, может быть, и лирику первого чувства.

Волна разочарования пронизала развеселившуюся молодежь, когда Максимилиан Френч объявил, что тройки поданы и кадетам пора возвращаться в корпус. Катя поехала провожать новых друзей и как то случайно оказалась рядом с Сандро. Быстрый бег коней мчавших санки, близость Сандро, охватили все существо Кати каким то непонятым, не испытываемым прежде, счастьем, от которого улыбались губы, в груди учащенно билось сердце и, разгоряченное непривычным волнением лицо, жадно пило морозное дыхание воздуха.

Весело побежали дни, недели . . . Как сказка промелькнуло Рождество с пышным балом в корпусе, со смеющейся молодой смехом елкой у Френч . . . незаметно подкралась игривая масленица с блинами, последними вечеринками, с катанием на санках . . .

Удар первого великопостного колокола оборвал для Кати и Сандро непрерывную цепь встреч, слов, желаний, волнений, оборвав какую то краси-

вую недосказанную сказку, породив мысли боязни, что она ушла куда то далеко, далеко и никогда не вернется...

Пришла весна и вернулась сказка... Катя любила сидеть у обрыва, когда наступали розоватые сумерки, и слушать длинные рассказы Сандро о далеком седом Кавказе, о воинственных и храбрых горских племенах, их обычаях, красочном наряде, оружии, о горных тропах, по которым на взмыленных конях несутся отважные джигиты, каждую секунду рискуя принять смерть в зияющей пропасти горного ущелья, где, извиваясь зигзагами, как серебряная змея, несется кипящая злобной пеной, горная речка.

Как то весенним поздним вечером у того же обрыва, без лишних уверений и слов, сказка была досказана. Сандро нежно привлек к себе маленькую, хрупкую Катю и, смотря в ее горящие блеском глаза, тихо спросил: — Хочешь навсегда быть моей?

В знак молчаливого согласия, Катя трепетно прильнула к его груди. Синяя ночь блестками загоровшихся звезд благословила сказку новой жизни Кати и Сандро.

Через месяц Сандро окончил корпус и вышел в Николаевское Кавалерийское училище с тем, чтобы через два года вступить в личный конвой Его Величества и, по примеру предков, отдать свою жизнь престолу и отечеству. Перед отъездом на Кавказ Сандро пришел проститься с Катей. Теплое разставание у обрыва не носило оттенка

печали, так как оба понимали, что оно временное и неизбежное. Было решено, что перед поступлением в военное училище Сандро приедет в Симбирск и две недели будет гостем в доме Френч...

Катя отказала матери в обычной летней поездке в Крым, в Алупку, где Френчи имели свою дачу, и решила провести знойное лето на Волге. Она хотела остаться одна и разобраться в волнующих ее мыслях будущей жизни и счастья. Частые, бесхитростные и чистые как вода горной речки письма Сандро были тем воздухом, которым сейчас дышало молодое, любящее сердце Кати, воздухом одевающим жизнь каждого дня цветами счастья, любви и верности, воздухом без которого жизнь кажется ненужной и пустой.

В последнем письме Сандро сообщал что приедет в самом начале августа и прислал ей свою карточку.

Сандро!.. милый... ты уже приехал, — в волнении шептала взволнованная Катя не могущая оторваться радостными глазами от суровой черной дали кавказских гор, на фоне которых на сухом кабардинце четко вырисовывалась фигура Сандро в белой черкеске с заломленной на затылок маленькой папахой. Переполненная счастьем скорой встречи с Сандро, Катя занялась приготовлением его комнаты. Она могла бы доверить это многочисленной прислуге, но почему то на этот раз ей хотелось сделать все самой, хотелось, чтобы каждая занавеска, картина, вазочка, лампа дышали бы ее заботой, излучали бы ее счастье. В свои

18 лет Катя не понимала, что она просто отдаёт дань прекрасному, неписанному закону «преддверия жизни», когда легко идешь на любую жертву, легко находишь извинения недостаткам, прощаешь ошибки, когда жизни двух людей еще не коснулась пагубная привычка.

Ночь на 1-ое августа Катя провела беспокойно, часто просыпалась, всматривалась в темень ночи, прислушивалась к шелесту листьев... Ей казалось, что Сандро уже совсем близко, и каждый случайный шорох за окном она принимала за его шаги, и как только засветлел восток, она в халатике выбежала в сад и торопливо стала срывать с большого куста темно пунцовые, впадающие в черноту, розы, на лепестках которых блестящими капельками сверкали слезы росы. Опустив пылающее лицо в сорванную охапку цветов она радостно вбежала в комнату Сандро, с любовью расставила цветы в вазы, и только тогда вернулась на веранду, где с утренним завтраком ее ждала мать, несколько дней тому назад вернувшаяся из Крыма. Три первых дня августа прошли для Кати в томительных и бесплодных ожиданиях. Она заметно нервничала и в мыслях своих сердилась на Сандро за то, что он точно не сообщил дня своего приезда, но чувство сразу находило ему извинение и, улыбаясь своим мыслям, Катя соглашалась, что и 4-ое и 5-ое и 6-ое — тоже начало августа...

Френчи только что кончили ужинать и наслаждаясь теплым августовским вечером пили чай на открытой веранде... Поздоровевшая, загоре-

лая от южного солнца, мама с увлечением рассказывала о несравнимых красотах Крыма, сказочной прелести южных ночей, водяной лазури сливающегося с горизонтом моря... В соседней с верандой комнате послышались чьи-то незнакомые быстрые шаги. Катя встрепенулась... Сандро, мелькнуло в мыслях... Беспокойный безотчетной радостью взгляд скользнул по двери, в черном просвете которой показался полковник Руссэт. Радужные хозяева радостно встретили нежданного гостя, усадили за стол.

— Совсем забыли нас деревенских жителей, — с улыбкой сказал Максимилиан Френч, передавая гостю стакан крепкого чаю.

— Я только что вернулась из Крыма и рассказывала своим об этом необыкновенном уголке русской земли... А что нового в Симбирске? — спросила хозяйка.

— В Симбирске ничего... а новость есть, ... печальная новость... упавшим голосом проговорил полковник Руссэт, виновато скользнув участливыми глазами по Кате. Он остановился...

— Продолжайте, — взволнованным шопотом сказала Катя, предчувствуя что-то недоброе...

Руссэт молчал...

— Продолжайте, — пренебрегая тактом властно настаивала Катя.

— Родители Сандро известили меня письмом, что 22-го июля, накануне отъезда в Симбирск, в ущелье Сангалуг, сорвавшись с обрыва вместе с лошадью, погиб Сандро...

Ужас услышанной правды вызвал реакцию могильной тишины, нарушить которую по праву могла только Катя. Она безжизненно опустила голову, как бы стараясь скрыть от присутствующих искаженное страданием лицо, руки соскользнули со стола... Страшная борьба двух половин охватила все ее существо. Русская, воспринятая с молоком матери, повелевала дать волю неутешным слезам, ирландская, к холодному восприятию тяжелого, но не последнего удара жизни... Ирландское начало победило... Через минуту Катя подняла голову и, смотря на отца, процедила сквозь стиснутые зубы: — Отец, я пойду в свою комнату... Все поникли головой. Мертвую тишину нарушила далекая трель соловья и медленные шаги Кати... Ушла солгавшая сказка... ушла жизнь...

Предание говорит, что мисс Френч с необыкновенной стойкостью несла крест жестокого и незаслуженного горя и только ночами, одинокая, опустошенная, она уходила к обрыву, силясь отдать неутешную печаль: темной августовской ночи, робкому шопоту леса, далекому рыбацкому костру... Через пять дней Катя дала обет безбрачья

Через неделю Катя уехала в Париж... Молодость потянуло к молодости и для совершенствования в французском языке она поступила в Сорбону. Она быстро вошла в круг разноплеменной, веселой молодежи, с некоторыми быстро сдружи-

лась, слушала лекции, а в полдень мчалась с друзьями в вагоне подземной дороги, куда то за площадь Конкорд, в маленький студенческий ресторанчик, или съедала свой завтрак на скамейке Люксембургского сада под статуей французской королевы. Излюбленным местом мисс Френч был Лувр, где она восхищалась древне греческой, египетской, ассиро-вавилонской живописью и скульптурой и никогда не чувствовала себя одинокой. Через год она не надолго приехала в Киндяковку. повидать родителей, но обуреваемая ненасытной жаждой знаний, снова уехала во Францию.

В 30 лет мисс Френч потеряла родителей и вернулась на постоянное жительство в Киндяковку. После шумного Парижа, Киндяковка показалась ей тихой монашеской кельей. Бунтующей, кипучей натуре мисс Френч скоро наскучило жить с умершими тенями прошлого, и она переехала в город. На Покровской улице, она купила Ермоловский особняк и весь его переделала в западно-европейском вкусе. По примеру деда и бабушки, матери и отца, дом Екатерины Максимилиановны Френч был всегда открыт для писателей, ученых, поэтов, музыкантов, художников и артистов. Из этого дома рекой доброты текла благотворительность... Один раз в году, обязательно на Пасху, мисс Френч давала пышный бал для кадет выпускного класса и местных гимназисток.

НА КАТКЕ

Брагин и Упорников считались лучшими конькобежцами своего класса и, возможно, если бы было устроено соревнование, то и всего корпуса. Они оба специализировались на фигурном катании, а Брагин, крепкий, приземистый, с сильными ногами, помимо всего, был помешан на прыжках. Его передний, задний и двойной прыжок выполнялись им с такой четкостью и изяществом, что вызывали неподдельное восхищение кадет и порождали целый ряд последователей, все же не могущих добиться той виртуозности, которой владел Брагин. Он это знал и любил изредка блеснуть и сорвать шумные аплодисменты на городском катке, где посетителями были не только кадеты, а и гимназисты, реалисты, а главное — знакомые и незнакомые якубовки и мариинки.

Городской каток занимал большую площадь на Новом Венце. Он содержался отцами города и, надо отдать справедливость, содержался в идеальном порядке все месяцы длительной зимы. Было воскресенье... Стоял ясный солнечный день уходящей зимы, один из тех дней, когда

яркое солнце уже не крепит мороза, а постепенно отпускает его. В такие дни с крыши еще не капает, дороги не чернеют, как весной, а лед на катке сохраняет свою крепость. Друзья пришли на каток около 3-х часов дня. В просторной теплушке --- смех, говор, улыбки... Одни торопятся надеть коньки, другие — снять, третьи просто отогреваются у большой печки-голландки. Друзья быстро сбрасывают шинели, надевают коньки, фигурные — «Яхт-клуб» и с достоинством, присущим хорошим конькобежцам, сбегают по ступенькам на хрустящий под острыми коньками лед. Они идут ровным размашистым бегом, все время увеличивая его скорость. Но вот навстречу плавно несется серая юбочка Верочки Глазенап, и Упорников, сделав какой-то вольт в обратную сторону, уже скользит по льду возле нее. Дальнейший путь Брагин идет один, упругие, разогревшиеся от бега ноги легче посылают вперед его молодое тело, а на лице он чувствует прохладное дыхание мороза. На полном ходу он сворачивает на специально отведенное для фигурного катания место. Здесь никогда не бывает много спортсменов, но каждая четко исполненная новая фигура встречается аплодисментами присутствующих. «Двойной прыжок», мелькнуло в мозгу, и эластичное тело Брагина от переднего прыжка легко падает на одну правую ногу, снова выпрямляется и, после безукоризненно сделанного заднего прыжка, падает на левую свободную ногу, и по инерции быстро несется назад.

«Молодчина Брагин», молнией пронеслось в голове. Сейчас апплодисменты... вот... вот... они уже начинаются... Я уже слышу их... и он чувствует, что падает на что-то мягкое, а воздух режет чей-то звонкий смех. Чьи-то каштановые, с бронзовым отливом, волосы защекотали его лицо, чьи-то полуоткрытые теплые губы коснулись его щеки... и два темно синего бархата насмешливых глаза смотрят на него.

Он вскочил... Перед глазами на мгновение мелькнули две стройные ножки, обтянутые тонкими, плотной вязки, чулками, а по неровным складкам широкой черной юбки скользнули белые, как пена, кружева... Девушка села, стыдливо поправила юбку. Брагин помог ей встать.

— Прощу простить мне мою неуклюжесть, — с неподдельным раскаянием сказал он и, беря руку под козырек, добавил: — Брагин.

— Нет, не прощу, — лукаво улыбаясь, ответила девушка, смахивая с юбки снежную пыль и, копируя Брагина, весело сказала: — Гедвилло.

— Вы не ушиблись?

— Немного... вот здесь, — указывая на колено правой ноги, капризно проронила незнакомка, кокетливо приподняв юбочку.

— Прелесть, — подумал Брагин.

— Чем могу я заслужить ваше извинение?

— Строгим наказанием, — лаконически ответила девушка, заправляя под пушистую белую шапочку непокорный локон волос и, вскинув на

Брагина свои смеющиеся глаза, добавила: — Вы сейчас же должны покинуть каток.

— Подчиняюсь... Быть наказанным вами — это счастье, которое дано не каждому... До свидания, — закончил он и, круто повернув, широкими бросками заскользил по льду.

— Брагин! — услышал он окрик сзади себя и, повернувшись, увидел, как очаровательная незнакомка с протянутыми вперед руками бежала к нему. Она не рассчитала скорости движения и попала прямо в объятия Брагина.

— Я передумала... Я хочу немного смягчить ваше наказание, — освобождаясь сказала девушка, как-то по детски капризно приподняв верхнюю губку.

— Богиня, я весь в вашей власти, — несколько театрально произнес Брагин, низко склоняя голову.

— Сегодня... вы должны кататься только со мной... Должны забыть всех ваших Наташ, Зинок, Валичек, Любочек...

— Но, ведь это счастье, а не наказание...

— Нет, наказание, потому что я плохо катаюсь...

«Все равно счастье», — подумал, но не сказал Брагин.

Они взялись за руки, крест на крест, и уже скользят по ледяному полю катка. По нескольким броскам Брагин узнает лукавство и с радостью чувствует в партнерше отличную конькобежицу. Он увеличивает ход и, словно для согласованного

баланса, временами сжимает в своей большой руке маленькую ручку случайной знакомки. Они в такт движения то отдаляются, то близко касаются друг друга, и тогда Брагин совсем близко чувствует ее теплое дыхание, от которого так приятно кружится голова.

— А как ваше имя? — спрашивает он.

— Маша... А ваше?

— Георгий.

— Жоржик, — тепло поправляет Маша, слегка, может быть случайно, пожимая руку Брагина. Ток какого-то приятного тепла пронизал все тело Брагина от этого чуть ощутимого пожатья.

— Не устали... Маша?

Не совсем... Жоржик... С вами так хорошо... кататься. А если хотите, отдохнем... вон там, на скамеечке...

Едва они успели опуститься на скамейку, оркестр заиграл вальс.

— Вы танцуете? — оживленно спросила Маша.

— Так же плохо, как вы катаетесь, — с улыбкой отвечает Брагин.

— Пойдемте... скорее, скорее, — тормозит Брагина за обшлаг мундира возбужденная Маша. Она грациозно кладет руку на плечо Брагина, так что ее пушистая перчатка приятно щекочет его шею. Он обнимает ее тонкую талью, и они мягко плывут в такт вальса. Она инстинктом чувствует движения Брагина, повинуется ему, и они скользят по льду законченными изящными па вальса, останавливая на себе внимание публики.

— Этого вальса я никогда не забуду, — тихо, почти касаясь маленького ушка Маши, шепчет Брагин, чуть сильнее прижимая к себе ее хрупкое тело, завуалированное складками черного бархата.

— Вы хорошо танцуете... Мне не было так удобно еще ни с кем, — отвечает Маша, и Брагин видит, как алая краска застенчивости заливает ее прекрасное лицо. Темп вальса замедляется... Они опускаются на скамейку. К ним на полном ходу подлетает Упорников с Верочкой Глазенап.

— Великолепно! Великолепно! Я все время следил за вами... Георгий, что же ты нас не знакомишь? — и, не дожидаясь, сам представляется Маше, знакомит ее с Верочкой.

— Следующий вальс со мной... Вы увидите, что это будет за вальс... ну, какой же Георгий танцор...

— С удовольствием, — отвечает Маша, подарив Упорникова чарующей улыбкой.

— Между прочим, господа, что вы сегодня вечером делаете?... Пойдемте к нам... Папа и мама будут очень рады... Мы всего три недели, как приехали в Симбирск. Папа назначен сюда начальником почтово-телеграфной конторы. Мы приехали из Вильно и еще никого здесь не знаем, — с капризной грустью закончила Маша. Все с радостью согласились, и волна неподдельного молодого веселья охватила всех. Смеялись, шутили, много катались, менялись партнерами. Последний вальс Упорников с энтузиазмом танцевал с Ма-

шей, а Брагин без энтузиазма с Верочкой Глазенап.

Вечером, когда они покинули теплушку катка, Брагин чувствовал себя самым счастливым человеком в мире и лишь только потому, что нес помимо своих коньков коньки очаровательной Маши, холодная сталь которых, ему казалось, излучала нежное тепло и согревала его руки.

На Чебоксарской встретили одноклассника, красавца князя Вачнадзе. Познакомившись с Машей, — с Верочкой он был не только знаком, а даже ухаживал за ней, — он с радостью принял ее приглашение, и скоро вся компания вошла в просторную переднюю квартиры статского советника Гедвилло.

— Раздевайтесь, господа, — сказала Маша, показывая на вешалку и не желая оставлять гостей одних, весело закричала: — Папа! Мама! Валя!... Я пригласила друзей... Мы голодны как волки...

Первой вбежала в переднюю старшая сестра Валя, прелестная пушистая блондинка, выпускного класса Мариинской гимназии. В ней было столько простоты и естественности, что через минуту все чувствовали, что они давным-давно с ней знакомы. В гостиную их радушно, просто и тепло встретили родители Маши, и та застенчивость, которую обычно испытывает молодость при первом посещении незнакомого дома, как-то сама собой исчезла.

— Ну, что я говорила, что папа и мама будут

рады? — вопросительно прошептала Маша, по очереди чмокая в щеку отца и мать.

— Мы покидаем вас, Верочке надо поправиться, а мне переодеться...

По тому ласковому взгляду, каким родители проводили Машу, не трудно было заключить, что она была общей любимицей семьи.

Старики пошли хлопотать по хозяйству, а голубоглазая Валя уже весело хохотала в обществе Упорникова и Вачнадзе. Брагин, в каком-то размягченно-блаженном состоянии от случайно найденного им счастья, подошел к открытому роялю. Сам он не умел играть, но он до болезненности любил музыку, и каким-то внутренним чутьем понимал ее. Он перелистывал тетрадку этюдов Шопена, а мысли неудержимо неслись к той необыкновенной, прелестной, маленькие ручки которой по этим, непонятным для него, черным точкам и закарючкам, могут передать в музыке счастье, страданье, любовь...

— Неужели я люблю? — пронеслось в мозгу... «Любишь», — ответило переполненное счастьем все его существо... Маша!.. люблю, — чуть слышно шопотом проронил он, сжимая в руках ноты Шопена, а перед глазами с бешеной быстротой неслась, словно в дикой пляске, навязчивая вереница всех его бывших увлечений. Кокетливая, с вздернутым носиком Валечка Лепарская, томная блондинка Наташа Туркестанова, с ямочками на щеках Верочка Шидловская и много... много других. Он ясно слышал их громкий хохот,

насыщенный презрением и укором ему — лжецу чувства. Он закрыл глаза, и все эти видения испарились словно туман под лучами солнца, и где-то далеко, далеко он увидел, чуть заметные нежные контуры той, ради которой он сейчас готов совершить любой подвиг, путь которой он всегда будет устилать яркими цветами своей любви. Он открыл глаза. Маша в нежно голубом домашнем платье с небольшим вырезом на груди и обнаженными точеными руками, схваченными у плеча вздутыми буфами, стояла возле него.

— Маша, сыграйте что-нибудь, — попросил он, освобождаясь от сладких мечтаний.

— С удовольствием, — просто ответила Маша и, слегка приподняв узкую, плотно облегающую ее фигуру, юбочку, опустилась на круглый стул. Перелистнув несколько страниц, и найдя любимый этюд, она мягко опустила руки на белую кость клавиш. Послышались волшебные звуки нежной как кружева любви, музыки... Брагин стоял зачарованный.

— Дорогие гости, прошу к столу, — с ласковой улыбкой сказала вошедшая мама. Этюд Шопена оборвался... Маша вскочила из-за рояля и, отыскав глазами Упорникова, весело прощепетала: — Коля, вы со мной...

— Почему с ним? — мелькнуло в мозгу Брагина, и волна безотчетной ревности впервые закипела в нем, бросилась в голову, краской залила лицо, в висках застучали какие-то молоточки,

настойчиво твердившие, — «Почему с ним?.. Уйди... уйди»...

Брагин уже был готов повиноваться зову охватившей его ревности, когда подбежавшая Валя взяла его под руку и сказала: — А я с вами, Брагин.

Все с шумом вошли в столовую, с тем же шумом сели за стол, обильно уставленный домашними яствами.

— Дорогие гости, хлеб-соль на столе, а руки свои, — с улыбкой, осматривая поверх очков стол, сказал радушный хозяин. Гедвилло были хлебо-солами — умели поесть и любили угостить. Надыхавшаяся морозного воздуха молодежь ела с сочным аппетитом. Остроумный Упорников, как будто на зло Брагину, без стеснения ухаживал за Машей и сыпал веселыми шутками, каламбурами и эпизодами кадетских шалостей, вызывая раскаты дружного смеха и, что поразило Брагина, что смеялись и статский советник и его монументальная супруга. Она колыхала в такт смеха свое располневшее тело, а статский советник поминутно вытирал белоснежным платком слезы смеха в своих, не по возрасту, лучистых глазах. Брагин, еще не остывший от ревности, в меру поддерживал остроты Упорникова и через стол любовался Машей.

— Ну, конечно, она самая красивая и умная девушка из всех, которых я раньше знал... Таких каштановых с бронзовым отливом вьющихся волос я еще никогда не видел... а этот прямой породистый лоб, точеный, чуть вздернутый но-

сик, глубокая ямочка на подбородке, капризная, немного приподнятая, верхняя губка, теплоту которой он ощутил на своей щеке при падении на катке... а эти синего бархата большие глаза, окрашивающие белки в нежную просинь и таящие в себе глубину моря, чистоту неба, смущение девственности, нежность любви.

— А ведь она действительно красавица, без колебания подумал он, и их глаза невольно встретились. Он впервые в жизни осознал необыкновенную силу взгляда, для которого не нужны слова, сила которого настолько могущественна и многогранна, что совершенно свободно отражает в себе все человеческие чувства: правду и ложь, волю и трусость, радость и печаль, ненависть и любовь... Любовь, от которой так сладко кружится голова, как-то по другому бьется сердце, ради которой хочется быть чище и лучше, для которой нет запретов и нет пресыщения.

«Моя?» — глазами спросил он Машу. Она на секунду остановила на нем свои счастливые смеющиеся глаза, но смеялись только губы, глаза говорили другое, что наполняло его душу чем-то прекрасным, неизведанным и светлым.

— Только твоя... ответили глаза Маши и, словно испугавшись, что Брагин не понял ее взгляда, она преувеличенно весело сказала: — «Господа, сейчас будем играть в игру... «Кто не доволен своими соседями»... Я, например, совсем недовольна своим... Папа и мама, вы тоже играете». Она повернула кнопку выключателя искомандовала: «Раз, два, три». Комната погрузилась в тем-

ноту, слышался шумдвигающихся стульев, веселый смех, нечаянные возгласы, и чья-то нежная рука коснулась руки Брагина. — Глупый, слышал он, и чьи-то волосы слегка защекотали его правое ухо. Кто то повернул выключатель, и в ярком свете комнаты предстали Вачнадзе с мамой, статский советник с Верочкой, Упорников с Валеи и Брагин с Машей.

— А теперь, первый вальс... кавалеры танцуют со своими дамами, — объявила Маша, и все с шумом перешли в гостиную. Маша поставила пластинку одного из Штраусовских вальсов. Вачнадзе почтительно склонил свою красивую голову перед слегка оробевшей мамой и, если физическая красота была унаследована им от его родителей, грация от седых гор Кавказа, то рыцарская почтительность к женщине была дана ему корпусом. Они плавно заскользили по блестящим квадратам паркета, когда статский советник, как знак молчаливого приглашения, склонил сидящую голову перед пухлой Верочкой. Маша грациозно положила левую руку на плечо Брагина и, в темп музыки, они, как на катке, закружились в вальсе. Он особенно близко чувствовал ее сейчас такую нежную, хрупкую, и вдыхал аромат ее слегка открытого тела. Он ясно чувствовал то горьковатый запах весенней черемухи, то пряный аромат пунцово-черных роз, то нежный, чуть уловимый запах гелиотропа... Он не понимал, что это был самый красивый, дурманящий аромат молодого тела — аромат молодости.

Кончился вальс... Вачнадзе торопился проститься, так как ему надо было проводить Верочку, живущую далеко, в районе казарм Сызранского батальона, которым командовал отец Верочки. Было решено в следующее воскресенье идти на дневное представление в цирк Сура. Скоро и для друзей наступил час возвращения в корпус. Они простились с хозяевами и вышли на улицу. Падал спокойный пушистый снег чуть поскрипывая под ногами... Друзья шли молча... Каждый по своему переживал новую встречу... Брагин жадно глотал свежий воздух, следя за веселым кружением нежных снежинок. Ему то хотелось кричать о своем счастье, то заключить его в непроницаемые рамки тайны, потому что это счастье только его... Но ведь Упорников лучший друг... Ему то я должен сказать, подумал Брагин.

— Николай, я влюблен...

— В кого?

— В Машу...

Друзья идут молча... Но ведь Брагин лучший друг, ему то я обязан сказать, решает Упорников.

— Георгий, я влюблен...

— В кого?

— В Машу...

— Как? — вскрикнул Брагин, ошеломленный ответом друга.

— А вот так... с первого взгляда...

— Но ведь это не по приятельски... Ведь с Машей познакомил тебя я...

— Во первых, познакомился я сам, во вторых, она сама отдала мне предпочтение быть ее кавалером за ужином, а в третьих, настоящая любовь не признает никаких приятельских отношений, — преувеличенно жестко ответил Упорников. Брагин не заметил лукавых, насмешливых огоньков в глазах друга, а Упорников с наигранной жесткостью в голосе продолжал: — Вопросы чести и любви решаются с оружием в руках.

— Дуэль... согласен... в бешеном порыве ответил обезумевший Брагин.

— Дурак! У нас нет оружия, — холодно бросил, как бы расстроенный этим обстоятельством Упорников.

Враги идут молча...

В Брагине кипела горячая кровь предков, мешавшая ему холодно и спокойно найти почетный и честный выход из создавшегося положения, а Упорников едва сдерживался, чтобы не расхохотаться.

— Я предлагаю тебе другой выход...

— Какой?

— На узелки...

— Как на узелки?

А вот так... Кто вытянет узелок, тому принадлежит Маша... Но предупреждаю, что наши дружеские отношения должны остаться прежними...

— Согласен...

Друзья остановились у фонаря, и в то время, как Упорников, отвернувшись спиной, завязывал на платке узелок, Брагин мысленно просил своего

небесного покровителя Святого Великомученика и Победоносца Георгия, не оставить его в такой серьезный момент жизни.

— Тяни...

Брагин с какой-то уверенностью потянул за одно ушко платка, которое оказалось с узелком.

— Маша! — восторженно воскликнул он, хватая за плечи друга, но обоих отрезвил монотонный бой городских часов, бивших десять — час обязательного возвращения в корпус.

До корпуса оставался всего один квартал. Друзья быстро бежали, влетели в швейцарскую, чуть не сбили с ног «дедушку крокодила» и, как гуттаперчивые мячики, прыгали через две-три ступеньки на третий этаж. Они явились дежурному воспитателю с опозданием в две минуты, что не влекло за собой наказания. Брагин только через неделю узнал, что Упорников завязал на платке два узелка.

Для Брагина наступили тяжелые дни ожиданий следующей встречи с Машей, которую в своих мыслях он уже называл «Машенькой». Это как-то ближе и теплее, думал он, а перед глазами вставал, живой образ той, которая будет спутницей всей его долгой жизни. Все его существо возмущалось, почему на неделе шесть учебных дней, а не четыре, почему так томительно долго ползут дни. Все уроки казались ему скучными, монотонными.

— Зачем они мне? — решил он и просто перестал заниматься. На уроках он скрыто, но тщательно вырисовывал разных размеров монограммы

с самыми любимыми и красивыми буквами алфавита — «М. Г.» К счастью за неделю его вызвал только француз Дусс и батюшка Смирнов. По обоим предметам он имел круглые двенадцать, и ему, и на этот раз удалось оставить у преподавателей, если не прекрасное, то вполне удовлетворительное впечатление.

Упорников, проигравший Машу на узелки, к радости Брагина, не поднимал больше этого вопроса, и Брагин жил своей красивой тайной, красивой, потому что она была связана с Машей, красивой, потому что во всем огромном мире эту тайну знал только он — Брагин. Он с нетерпением ждал ночи, когда успокаивается суетный шум дня, когда тяжелый сон, словно временной смертью, сковывает молодые тела кадет. Он нарочно представлялся спящим, чтобы потом, когда наступит тишина безпечного сна, когда дежурный воспитатель обойдет спальню с последним контрольным обходом, крадучись подойти к огромному окну и смотреть в беспредельную ширь лунной ночи. Свет полной луны, ласковый и нежный, светил ему прямо в душу и наполнял ее чем то неизведанным и прекрасным отчего кружилась голова и учащенно билось в груди сердце. Моментами ему казалось, что та же луна, с далекой лазурной вышины, смеется над ним. Он всматривался в ее улыбающийся лик и бесполезно старался разгадать тайну ее хитрой улыбки. С тяжелой головой, с разбитым телом он возвращался в свою остывшую постель, и только под утро засыпал беспокойным сном.

В ЦИРКЕ

Воскресение выдалось ясное, солнечное и приятно морозное. Поджидая друзей, Брагин уже давно фланировал у здания почтово-телеграфной конторы. Он заметно нервничал, поглядывая на большие городские часы, стрелки которых, ему казалось, стоят на одном и том же месте. Но часы преспокойно шли своим размеренным ходом, автоматически бесстрастно передвигая минутную стрелку, поочередно, на две и три минуты. С высоты своей башни они равнодушно смотрели на Брагина. Им не знакома жалость к людским переживаниям. Через несколько минут они монотонными, холодными ударами оповестили горожан о наступлении полудня, совершенно не интересуясь, кому этот полудень принесет: радость или печаль — жизнь или смерть.

При приближении друзей, Брагин сделал вид, будто он тоже только что пришел и, здороваясь со всеми, искусственно весело сказал: — Вот как хорошо... Все собрались в одно время...

— Ты нас не обманешь... Наверно ночевал здесь? — в шутку, которая не понравилась Браги-

ну, бросил Упорников, и вся компания с шумом стала подыматься по лестнице. На звонок дверь открыла сама Маша.

— Здравствуйте господа, вы не раздевайтесь, — непринужденно весело щебетала она, подавая каждому руку.

— Папа уже билеты купил, а после цирка . . .

— А после цирка . . . все к нам обедать, отпраздновать день рождения Маши, — весело закончил, начатую Машей фразу, вошедший папа Гедвилло, сочно целуя в щеку любимицу дочь.

За шумом поздравлений и пожеланий в переднюю вбежала голубоглазая Валя в мягкой беличьей шубке, неся в руках маленькую черного котика жакетку Маши.

П а ж ! . . Меха, — торжественно повелительно сказала Маша, смотря на Брагина смеющимися глазами.

— П а ж ! . . Она сказала мне «паж» . . . мне, а не Упорникову и не Вачнадзе, — думал Брагин и, одевая плечи Маши в мех жакетки, он впервые увидел за ее правым ушком маленькую, тоже с бронзовым отливом, родинку. Приятно закружилась голова . . . Он дольше положенного задержал жакетку в своих руках, и Маша, инстинктом чувствуя его восхищенный взгляд, порозовела нежными застенчивыми красками . . .

Цирк Сура помещался в конце главной улицы, где уже начинался пригород. Это был огромный, отлично оборудованный тент, для зимы хорошо отапливаемый. Компания пришла за 15 минут до

начала представления. Горели только контрольные огни, и полумрак цирка быстро заполнялся шумной возбужденной молодежью. Все заняли свои места. Брагин сидел с Машей. Оркестр Сурского батальона отыграл бравурный марш, цирк залился светом газовых фонарей . . . программа началась . . . Вольтижировка, дрессированные животные, музыкальные клоуны, партерные гимнасты, жонглеры чередовались один за другим, с улыбкой демонстрируя публике головокружительные номера, добытые: упорством, тренировкой, волей и гением человека.

Безукоризненный фрак, блестящий цилиндр, белые перчатки . . . На арене появляется кумир публики, красавец Готье, знаменитый дрессировщик лошадей. Взмах шамбарьера и четыре, рыжих как золото, коня галопом вылетают на арену, делают красочный четырехугольник, падают на колени передних ног и, так же как Готье, склоняют свои головы перед бушующей восторгами публикой. Маша искренно аплодирует, а Брагин рукою пересчитывает в правом кармане брюк куски сахара, которыми маленькая ручка Маши в антракте будет кормить вот этих самых чудных лошадей. Брагин всю неделю пил чай без сахара.

Трудно сказать кому аплодировала публика? Этим умным, кажется только не говорящим, животным, или Готье. Конечно Готье . . . Готье сумевшему лаской развить в них разум, подчинить воле человека и дать им понимание ритма движения, а может быть и музыки.

Конечно Готье сумевшему в 1916 году, в Москве, в день 75-летнего юбилея родоначальника русского цирка Акима Никитина, двумя ударами амбарьера, поднять на дыбы 12 вороных коней, опоясанных широкими синими с золотом подпругами и третьим ударом склонившего их головы, украшенные золотыми султанами, перед полуслепым, увешанным от шеи до пояса орденами и медалями, юбиларом, отдавшим русскому цирку всю свою долгую жизнь.

В антракте, когда был притушен свет арены, все пошли смотреть животных. Прошли надменного, безразличного верблюда провожающего назойливую публику одними глазами, не поворачивая головы. Задержались у двух маленьких обезьянок, приготовленных к выступлению во втором отделении, одна в женском платье кокетливо поправляла на голове маленькую с перьями шляпу. другая в зеленом фраке быстро снимала и снова одевала белые перчатки. Дошли до лошадей, и Маша капризно приподняв верхнюю губку и повернувшись к Брагину с искренним сожалением сказала: — Ну вот, а сахару нет... а все вы виноваты... почему не напомнили?

Брагин торжественно вынул из кармана ровные кубики сахару, чем привел Машу в восторг. Ему даже показалось, что Маша хочет поцеловать его, так близко она приблизила к нему свое лицо, но она только взяла его за обшлаг шинели и тихо сказала — «х о р о ш и й».

Брагин восхищенно наблюдал, как маленькая,

нежная ручка Маши испуганно подносила к бархатым губам лошади кусочки сахара, как умное животное нервно раздувало свои ноздри, косило на Машу белками глаз и нетерпеливо переступало на своих точеных ногах. Последнюю лошадь Брагин ласково потрепал по бархатной шее, и когда животное склонило к нему свою голову, он, тихим шопотом сказал ей на ухо: — «Это моя невеста». Как знак одобрения лошадь чуть поднялась на задних упругих ногах и громко заржала.

Второе отделение, как обычно во всех цирках, всегда состояло из лучших номеров и проводилось лучшими артистами. Так было и сегодня.

Первой выступала очаровательная наездница Реджина. В белых пачках, пушистая как снег, она, при помощи Готье, легко вспрыгнула на черное с серебром пано, покоившееся на широкой спине огромной, серой в яблоках лошади. Под звуки галопа она чисто проделывала один номер за другим: прыгала через веревочку, танцевала, легко перебрасывала свое хрупкое тело через цветные ленты и только в финальном номере, когда ей надо было прыгать через три зажженных обруча, она перед первым обручем потеряла равновесие и, если не упала, то как то неудачно соскользнула с пано на арену. Клоун во время успел убрать горящий обруч.

Испугавшись, Маша инстинктивно схватила Брагина за руку, и он почувствовал во всем теле прилив какой то радостной теплоты. Реджина снова вспрыгнула на пано, Маша убрала руку, а Бра-

гин, не желая никакого зла наезднице, мысленно умолял ее еще раз соскользнуть с пано, но он ошибся. Четкий прыжок через три обруча, и цирк загремел бурными овациями . . . Много посмешили публику две обезьянки, блеснул знаменитый жокей Багри-Кук, семья велосипедистов и четыре брата Винкиных — «короли воздуха».

Возбужденные, радостные, восторженные, все покинули цирк, обсуждая по дороге наиболее интересные номера программы. Дома их ждал обильный вкусный обед, с домашними пухлыми пирогами. Обед прошел в веселых непринужденных тонах. Молодежи даже выдали по бокалу чуть хмельного вина, сильно напоминающего клюквенный морс. Брагин от соседства с Машей был в ударе, много шутил и, когда после сладкого все перешли в гостиную, первым открыл импровизированную программу, с подъемом прочитав два стихотворения. Он был незаурядным декламатором, имел хорошую манеру чтения и вполне заслуженно получил одобрение присутствующих. Маша с присущим ей мастерством играла ноктюрн Шопена, пока Брагин, облокотясь на рояль, любовался ею... Ему казалось, что за истекшую неделю в ней произошла какая то перемена . . . что сейчас она какая то другая, что физическая красота отошла куда то на задний план, уступив место какому то необъяснимому притяжению, нежные, невидимые волны которого излучают сладостное обаяние, против которого нет сил устоять. Окончив Шопена, Маша повернулась на вертящемся круглом стуле и весе-

ло объявила: — А теперь князь протанцует нам лезгинку.

— Лезгинку . . . лезгинку, — слышались голоса.

— Ну какая же лезгинка без черкесски и кинжала, — разведя руками возразил Вачнадзе.

— Кинжал есть, — убегая объявила Валя, и через минуту вбежала в гостиную с хорошо отточенным, большим кухонным ножом. Все столпились около рояля. Маша легко схватила несложную мелодию лезгинки, и красавец князь с тонкой осиной тальей, с влажными глазами горной газели, поднял руки и плавно заскользил по паркету. Это был необыкновенный танец. Мягкие, чуть заметные, ритмичные движения ног, при полном спокойствии тела, чередовались с движениями рук, в одной из которых блестела сталь кухонного ножа. Вачнадзе закончил танец в бешеном темпе и искусным броском вонзил острие воображаемого кинжала в паркет, как раз у ног мамы.

— Браво князь! . . . браво . . . Разрешите вас поцеловать, — восторженно сказала мама, пухлыми, располневшими руками беря красивую голову князя, и целуя его в лоб. Ее примеру последовали: экзальтированная Валя, влюбленная Верочка и не видевшая танца Маша.

— Почему я не грузин? — с досадой подумал Брагин, когда Маша чмокнула Вачнадзе в щеку. Он, однако, был скоро вознагражден. Играли в фанты, и проигравшая Маша подарила его первым застенчивым поцелуем. Игра в фанты дальше не

винных поцелуев не шла, но странно то, что почему то Вачнадзе обязательно проигрывал Верочке, Валя — Упорникову, а Брагин — Маше. Танцевали, шумели, хохотали, но час явки в корпус, настойчиво напоминал о себе. Верочка и Вачнадзе ушли уже давно, и когда друзья стали прощаться, разбурянная Маша капризно заявила: — Нет, нет... еще рано... Еще одни двойные фанты... Я с Валей против вас... Хорошо?

...Конечно проиграли Упорников и Брагин. Маша с той же лукавой улыбкой, объявила проигрыш, заключающийся в том, что друзья, в любой день недели должны были убежать из корпуса и притти к ним пить кофе. Сестры и не подозревали какому риску они подвергали своих новых друзей. Обусловленным днем была выбрана среда, и лишь только по тому, что в среду дежурил более мягкий полковник Гусев, а часом — 4 часа дня. Друзья заспешили в корпус. Пылкий Брагин перебирал в голове возможные планы побега из корпуса, но крутой мороз быстро охладил его мозги и остаток пути он старательно оттирал чуть схваченные морозом уши.

— Георгий, я влюблен в Валью, — серьезно сказал другу Упорников.

— Ну вот, я же говорил тебе, что она больше подходит... Ты блондин... она блондинка... У обоих голубые глаза... семейное счастье обеспечено...

— Голубые глаза, — с саркастической улыбкой повторил Упорников.

Он был полной противоположностью сентиментальному Брагину. Он был стопроцентный реалист и в свои 17 лет понимал жизнь в аспекте ее реальности. Он влюбился в Валю, потому что она молодая, веселая, потому что у нее красивые голубые глаза, какие однако можно встретить на каждом шагу, молодое тело, которое у всех молодых — «молодое». В своем чувстве на данный момент он был чист и искренен, но лунный свет на него не влиял, пушистые снежинки не приводили в восторг, стрелки городских часов не раздражали, вот почему, когда Валя экстерном сдала экзамен за 7-й класс и уехала в Москву на высшие женские курсы, он как-то незаметно для самого себя забыл ее и уже так же искренно был влюблен в Катюшу Жбанникову, как-то особенно пышно расцветшую за последний год.

НА ЛЫЖАХ

Влюбленные друзья на этот раз явились в корпус без опоздания. У них еще оставалось время блеснуть несколькими головокружительными номерами на турнике и параллельных брусьях в гимнастическом зале, где обычно перед сном собирались фанатики спортсмены. Они разогрели до красна свои молодые тела ледяной водой и отправились спать. Их кровати были не рядом. По правилам корпуса кровати занимались кадетами строго по ранжиру, а Упорников был много выше Брагина. Упорников лег вчистую постель, с улыбкой вспоминая проигрыш наступающей среды, отнес его к несовсем разумной выдумке очаровательных барышень и быстро заснул крепким молодым сном.

Брагин вертелся в кровати и совершенно по другому оценивал счастливый проигрыш, дающий ему возможность на неделе лишний раз увидеть свою Машеньку. Его пытливый ум занимала мысль, как среди бела дня осуществить этот дерзкий побег из корпуса. Швейцарская комната, из

которой был единственный выход на улицу, сразу отпала, так как он отлично знал, что «дедушка крокодил», главный швейцар корпуса, никогда не пойдет ни на какие компромиссы. Он в душе возненавидел верного и неподкупного стража швейцарской комнаты.

Воспитатель обошел спальню с последним обходом, бесцеремонно вынимая руки спящих кадет из под одеяла (по правилам корпуса руки должны быть поверх одеял). Вокруг раздавалось мерное в такт дыхания посапывание безмятежного сна, когда усталый от напряжения мозг Брагина пронизала мысль побега из спальни, через большую форточку, по узкой пожарной лестнице, за зиму сплошь усыпанной снегом. Эта мысль показалась ему гениальной и настолько легко осуществимой, что он сразу стал обдумывать детали плана, чтобы завтра в готовом виде преподнести его другу. Спальня целый день закрыта на ключ, который хранится у дежурного дядьки . . . думал Брагин, но ведь можно после обеда пробраться в спальню для посещения каптенармуса. Для отвода глаз можно даже посетить его, оторвав от мундира одну-две пуговицы, и уже на обратном пути вылезти через широкую форточку на пожарную лестницу. Уверенный в полном успехе, он заснул блаженным сном. Он только не продумал обратного пути, когда форточка могла быть закрыта одним из дядек или самим каптенармусом . . .

Понедельник выдался снежный . . . Спокойный снег падал целый день. После обеда друзья через

огромное окно двухсветного зала наблюдали, как узорчатые хлопья покрывали свежим белым ковром всю площадь переднего плаца. Брагин таинственно, но с увлечением, передавал другу свой гениальный план. Он был уверен, что смелый и решительный Упорников одобрит его.

— Дурак! . . Идеалист! — одобрил Упорников и перевел смеющиеся глаза на белое поле плаца.

— Пусть я дурак, но я хоть что-то придумал . . . а ты умный ничего выдумать не можешь! — с сердцем ответил Брагин. Некоторое время друзья стояли молча. Вдруг по лицу Упорникова скользнула радостная улыбка и, крепко схватив друга за руку, он произнес: — И д е я ! . . Блестящая идея!.. В среду, после обеда . . . отпросимся у воспитателя побегать на лыжах, — закончил он, глядя на Брагина смеющимися голубыми глазами. Брагин даже подпрыгнул от радости, схватил друга за плечи и неистово стал трясти его. Он сейчас же признал, что Упорников умнее его. Друзья решили держать свой план в строжайшем секрете. В нем был только один сомнительный пункт . . . «Разрешит ли полковник Гусев?» Он отлично знал, что ни Упорников ни Брагин никогда не интересовались лыжным спортом, но и этот пункт, учитывая особо-теплое отношение Гусева к Брагину, показался друзьям не страшным.

.

Вторник тянулся невесело долго. Друзьям казалось, что именно на этот вторник кто-то вдруг положил какую-то тяжесть, придавившую его и

лишившую его возможности двигаться со скоростью всех предыдущих вторников. Друзья томились от разъедающей их скуки, а темпераментный Брагин возмущался тем, что кто-то выдумал какие то вторники, что ничего бы не случилось, если после понедельника была бы сразу среда, и только сам вторник, спокойно-бесстрастно, продолжал свой обычный путь, уложенный в рамки обязательных 24 часов, все дальше и дальше отдаляясь от понедельника и все ближе приближаясь к среде...

Наступила долгожданная среда рискованного и трудно осуществимого побега из корпуса, в случае неудачи чреватого большими неприятностями и суровым наказанием. Друзья отлично знали, что их ожидает не карцер с обязательным посещением всех уроков, и с неудобством жестких дубовых нар, а по крайней мере лишение отпуска на три месяца, обрывающее непрерывную цепь красивых, чистых встреч с своими возлюбленными, когда задорной музыкой из за пустяка льется веселый смех, когда от случайно брошенного слова или взгляда холодный декабрь одевается теплом цветущего апреля, когда молодые уста от долгого недельного поста жадно ждут радости чистого касания. Казалось чего проще отказаться от этого побега, терпеливо дожидаться субботы, повидать Валю и Машу, которые возможно уже сами раскаиваются в своей необдуманной шалости, все им объяснить, но юношеский задор, яд запрещенной встречи, взяли

верх над сухой логикой, и сегодняшний побег в мыслях друзей был овеян ореолом славы.

В полную противоположность вторнику среда неслась с ошеломляющей быстротой; как миг пронеслись уроки, перемены, завтрак, опять уроки, и как только рота вернулась с обеда, и полковник Гусев опустился в кресло у письменного стола, друзья четким шагом подошли к нему.

— Господин полковник, разрешите нам побегать на лыжах, — начал, несколько волнуясь, Брагин.

— На лыжах? — вопросительно спросил воспитатель, в упор глядя на кадет.

— Снег очень хороший... хотим попробовать, — искусственно прозвучал ответ Брагина.

— Гм... снег хороший? — с улыбкой сказал Дмитрий Васильевич, постукивая по столу карандашом и продолжая смотреть на кадет.

«Все знает», — промелькнуло в мозгу лыжников.

Воспитатель оторвал от блокнота очередной листок и размашистым почерком написал:

«Пропустить двух».

Полковник Гусев.

— Обратно не позднее пяти, — спокойно проговорил воспитатель, подавая записку Брагину.

— Слушаемся, господин полковник, — весело ответили друзья.

Быстро захватив заранее приготовленные лыжи, они, радостные, сбежали в швейцарскую, тор-

жественно предъявили «дедушке крокодилу» пропускной билет, но неторопливый и спокойный швейцар открыл им дверь только после того, как надел на сизый нос очки и, не торопясь, прочитал содержание записки.

Друзья перебежали дорогу и очутились на снежном поле переднего плаца. Надевая лыжи, они жадно вдыхали аромат чистого снега. Легкий, веселый мороз приятно пощипывал нежные мочки ушей. Неуклюжие движения быстро разогрели молодую кровь, и их тела в своем поступательном движении к заветной цели — к забору, казалось, не чувствовали своего собственного веса. Они шли по аллее, которая была как раз в створе с окном, у которого стоял полковник Гусев и с высоты третьего этажа наблюдал за двумя черными фигурами, резко выделяющимися на белом снегу обласканным нежно розоватыми вечерними сумерками.

Отважные лыжники, волею судьбы поставленные в рамки очень ограниченного времени и предстоящего рискованного пути, где на полуквартах Чебоксарской и Гончаровской улиц они совершенно случайно могут попасть в нежелательные для себя объятия какого-либо преподавателя или воспитателя, на полпути сняли лыжи и, утопая в рыхлом снегу быстро приблизились к забору.

Полковник Гусев улыбнулся себе в усы...

Каменный забор, по верхнему краю обрамленный словно сбитыми сливками толстым слоем снега, представлял внушительное препятствие, но не

для лыжников, смелых и отличных гимнастов. Первым, словно резиновый мячик, вспрыгнул на забор Упорников. Он всмотрелся в серую мглу улицы и, крикнув: — «Путь свободен», легко перебросил свое эластичное тело в запретную зону улицы Брагин легко взял препятствие с короткого разбега и, перебрасывая радостное тело через забор, услышал сзади себя резкий треск рвущейся материи. Сомнений не было. Новые брюки только что полученные от каптенармуса лопнули сзади по шву.

— Николай, я не могу идти, — убитым полушопотом прошипел Брагин.

— Почему?

— Смотри...

Брагин повернулся спиной к Упорникову, нагнулся... На фоне черного сукна через большую трещину резко сквозило кремовое трикотажное белье.

— Пустяки... Я тебя буду закрывать... ты старайся ходить задом... понимаешь? — увлекая за собой друга торопливо убеждал Упорников. Они благополучно пробежали Чебоксарскую улицу и свернули на главную...

— Ей!.. Ей!.. Поберегись! — резко прорезало воздух, и серый в яблоках, разгоряченный бегом конь, высоко подымая передние ноги и в такт дыхания выбрасывая из ноздрей клубы пара, стрелой промчался около посторонившихся кадет, унося в черную даль улицы уланского корнета.

Брагин был подавлен происшедшим... Мысленно он проклинал и суконную фабрику за гни-

лой материал, и каптенармуса — за новые брюки. Предстоящая встреча с Машей, которую он ждал с таким трепетом, потеряла для него свою прелесть. Он бежал за Упорниковым, движимый просто товарищеским инстинктом, в мыслях своих желая, чтобы кто-нибудь из воспитателей поймал их. Лучше три шесть месяцев без отпуска, чем этот позор, думал он, ежесекундно касаясь руками огромной дыры, в которую назойливо врывался морозный воздух. На леснице он еще раз пытался убедить Упорникова в том, что не может идти, что наконец можно сказать, что он болен, но просвете открывшейся двери показались обе сестры, очевидно сгоравшие от нетерпения и ожидавшие их прихода.

— Скорее . . . скорее . . . только тихо . . . папа и мама ничего не знают, — шопотом сказала возбужденная Маша, беря Брагина под руку и увлекая его за собой в тускло освещенную переднюю. К удивлению Маши Брагин уперся, как осел. Он с растерянной улыбкой предлагал Вале и Упорникову пройти вперед, возмущался тупостью друга, не понимавшего того, что если хохотуша Валя останется позади, его позор неминуемо будет открыт, станет достоянием всей Мариинской гимназии, корпуса, всего города, и его трепетная любовь будет безжалостно отвергнута Машей.

Они, крадучись прошли полутемный корридор и вошли в просторную комнату сестер. Пахнуло ароматом девичьей чистоты . . . По диагонали в углах стояли две опрятные кровати, словно близне-

цы, словно две розы с одного куста. Два одинаковых письменных стола с горкой аккуратно сложенных книг и тетрадей, два одинаковых кресла дополняли обстановку комнаты, освещенную мягким светом двух настольных ламп под густо пунцовыми абажурами. Брагин вздохнул облегченно только тогда, когда опустился в маленькое кресло, спинка которого закрывала его от Вали, сидящей с Упорниковым в противоположном углу комнаты.

— Что с вами Жоржик? Я вас не узнаю . . . вы чем то расстроены?

— Нет, я просто немного нездоров, — слукавил Брагин.

— Зачем же вы рисковали? . . . В одном мундире . . . так легко простудиться. Я сердита на вас, — капризно закончила Маша, опуская теплую руку на лоб Брагина.

— Температуры нет, — уверенно и вместе с тем заботливо сказала она смотря в бегающие глаза Брагина.

Искреннее участие Маши так приятно кружило голову, хотелось именно сейчас так много сказать ей, но злосчастная дыра на брюках приклеила язык Брагина к гортани и лишила его дара речи.

Через минуту Валя внесла в комнату дымящееся легким паром, ароматное кофе и домашнее печенье-песочки. Все столпились у стола Маши, только Брагин сидел, словно приклеенный к сиденью кресла. Говорили полушопотом, тихо смеялись, отпивая мелкими глотками вкусное кофе и хрустя свежим печением. Для сестер, эта короткая

запретная встреча была овеяна сладостью рыцарства. Упорников красноречиво и образно нарисовал сестрам картину Брагинского плана, язвительно коснулся форточки и пожарной лестницы и отнес успех сегодняшнего побега за счет своей гениальности. Валя до слез хохотала, когда Упорников представил Брагина, сидящим на узкой пожарной лестнице, в зимнюю стужу перед закрытой форточкой. Маша заступилась за Брагина.

— Во всяком случае сидеть на пожарной лестнице я считаю более рыцарским поступком, чем украдкой лазить через заборы, — с сердцем сказала она, дабы остановить смех Вали и издевательства Упорникова.

— Быть по сему принцесса!.. Пусть рыцарь без страха и упрека возвращается в корпус по пожарной лестнице, а я, уронив в ваших прелестных глазах свое рыцарское достоинство, уж какнибудь перелезу через забор, — обиженно закончил Упорников. Друзья стали прощаться... Брагин, сделав какой-то вольт, быстро начал пятиться к двери.

Ну что вы пятитесь, как рак? — с капризным раздражением спросила Маша решительно наступая на Брагина.

— Я ничего, Маша... мне просто так удобнее, я люблю так ходить, — растерянно бормотал Брагин, продолжая пятиться к выходной двери. Упорников опередил друга и широко открыл парадную дверь.

— До воскресенья! — с улыбкой проговорил овладевший собой Брагин.

— Нет, до субботы, — одновременно ответили сестры.

— Если нас не поймают на обратном пути, — шутливо бросил Упорников.

Тяжелая дверь закрылась, оставив по одну сторону недоумевающую Машу, а по другую, весело сбегавших по крутой лестнице, друзей.

Обратный путь друзей под покровом ранних зимних сумерок прошел так же благополучно. Они не встретили ни одного «зверя», никем не замеченные перелезли через забор, захватили лыжи и веселые возвращались в корпус. Упорников убедил друга; что ни Валя ни Маша не заметили его злосчастной дыры на брюках и вернул ему его обычный задор и юмор.

.

— Господин полковник, вице унтер-офицер Брагин имеет честь явиться с лыжного пробега, — четко отрапортовал Брагин.

— Господин полковник, кадет 7-го класса Упорников имеет честь явиться с лыжного пробега, — эхом прозвучали слова Упорникова.

— Как побегали? — отрываясь от книги и смотря в разбурьяненные лица кадет, спокойно спросил воспитатель.

М о л ч а н и е . . .

Как побегали?.. Хороший снег? — повторил свой вопрос полковник Гусев, и чуть заметная улыбка скользнула по его губам.

— Мы не бегали, господин полковник, — подавленным голосом ответил Брагин.

— Как не бегали? .. Что же вы делали до пяти часов?

— Пили кофе, — чуть слышно проронил Упорников.

— Какое кофе? .. Где? ..

— У Гедвилло, — произнес Брагин.

— У Гедвилло, — прозвучало эхо Упорникова.

— И д и т е , — холодно сказал полковник Гусев после большой паузы.

... — Ну вот, доигрались ... Завтра будет доложено ротному командиру, послезавтра директору корпуса ... и рабы Божии Георгий и Николай — три месяца без отпуска, а тебе еще унтер-офицерские нашивки снимут, — с легкой досадой в голосе сказал Упорников.

— Зато сказали правду, — ответил расстроенный Брагин и, сдав лыжи дежурному дядьке, направился к каптенармусу, чтобы сменить изорванные брюки.

КАПТЕНАРМУС

Никандр Онуфриевич Антипин вот уже добрых два десятка лет был каптенармусом строевой роты корпуса. Он был незаурядной личностью, пользующейся уважением как воспитательского персонала корпуса, так и кадет. В нем одновременно и удивительно дружно уживалась масса противоречий, над которыми однако господствовали три неизменные основные качества: бережливость, честность и верность когда-то данной присяге. Маленький, жилистый старичек, бывший сверхсрочный унтер-офицер 81-го пехотного Апшеронского Императрицы Екатерины Великой полка, он всегда гордился красными отворотами на сапогах, пожалованными полку за знаменитую Кунерсдорфскую баталию, решившую участь семилетней войны, где русские войска под командой генерала Салтыкова на голову разбили Фридриха Великого. За эту битву Салтыков был награжден фельдмаршалским жезлом, а Апшеронский полк, по преданию дравшийся по колено в крови, красными чулками.

Антипин, или как его звали кадеты, «Антипыч», хотя и не был участником этого боя, любил при каждом удобном случае рассказывать о нем юным слушателям, которых до болезненности любил. Кадеты очень широко пользовали эту слабость каптенармуса, главным образом тогда, когда им надо было получить от него новый мундир, брюки или сапоги. Подойдут к Антипычу три заговорщика... Он вскинет на них поверх очков сухой взгляд и так же сухо спросит: — Ну, что еще?..

— Нет, ничего, Антипыч...

— А ежели ничего, зачем пришли?

— Мы просто хотели просить вас рассказать об этой битве, в которой отличились Апшеронцы...

— «Апшеронцы» в «этой битве» не отличились, а заслужили славу храбрых и красные чулки за Франфорскую баталию у Кунерсдорфа. Он выдерживал долгую паузу и, обычно молчаливый, давал волю своему красноречию. В описании знаменитой баталии он больше всего отдавал должное Апшеронцам, и создавалось впечатление, что это они, «Апшеронцы», отбили у пруссаков 172 орудия и захватили 293 знамени, хотя под командой Салтыкова было 40 тысяч русских войск и 18 тысяч австрийцев. Но больше всего и дольше всего он останавливался на личном письме Фридриха Великого, которого называл «Фредерик» и умышленно опускал слово «Великий».

— Э, да что говорить... Сам Фредерик лучше всего написал про баталию:

«От армии в 48 тысяч у меня в эту минуту не остается и трех тысяч. Все бежит, и у меня нет власти над войском. Жестокое несчастье, и я его не переживу. Последствия битвы будут еще хуже самой битвы: у меня нет больше никаких средств и, и сказать правду, считаю все потерянным».

— Вот какого жару дали Апшеронцы Фредерику, — торжественно заканчивал Антипыч, впадая в размягченное состояние и сравнительно легко удовлетворяя просьбы кадет. Он был необыкновенно горд тем, что судьба доверила ему одевать кадет строевой роты в возрасте 16—18 лет, когда мешковатые, несформировавшиеся формы детского тела сменялись правильными пропорциями груди, бедер, талии, ног и рук, когда, по словам самого Антипыча, мундир сидит, как мундир, а не как седло на корове. Однако главное священнодействие начиналось тогда, когда Никандр Онуфриевич получал распоряжение ротного командира — «обрядить в обмундирование первого срока 20—25 кадет, идущих на бал к губернатору или к мисс Перси Френч». В таких экстренных случаях Антипин занимался с каждым кадетом отдельно. Тогда он работал как большой мастер. Обрядив кадета в новые брюки и мундир, он по несколько раз отходил в угол цейхгауза, по несколько раз прищуривал то левый, то правый глаз, смотрел через очки, поверх очков, пригибался, делал, понятные только ему, молчаливые жесты и, наконец, торжественно

возглашал: — Ну, прямо живой статуей . . . Финал, и все тут . . . Иди . . .

Кадеты, которых, вопреки инструкции корпуса, Антипыч называл на «ты», легко прощали каптенармусу эту погрешность относительной безграмотности, не позволявшей ему выговорить слово «фе но мен». Они решили, что у Антипыча пожизненно испорчены отношения с этим словом и он просто заменил его словом «финал».

Брагин застал Антипыча, читающим газету у своего стола.

— Антипыч! . . Несчастье случилось, — весело сказал вошедший Брагин. Каптенармус не сразу оторвался от газеты, поверх очков посмотрел на Брагина и сухо спросил, — Что еще?

— Брюки лопнули, кажется по шву, — ответил Брагин и, повернувшись спиной, наглядно продемонстрировал перед Антипычем огромную дыру.

— Скидавай штаны, — послышался жесткий голос каптенармуса, в котором Брагин уловил отенок недобрых ноток.

Брагин молча снял брюки и передал их Антипычу. Каптенармус долго рассматривал зияющую дыру, почему то несколько раз просовывал в нее кулак и покачивал седой головой.

— «Что же ты стоишь? . . Иди . . .» наконец изрек каптенармус, презрительно разглядывая фигуру Брагина в черном мундире и кремовых кальсонах.

— Как же без брюк, Антипыч?

— А вот так . . . в одних исподних, чтобы на-

перед знал, как беречь казенное имущество...

— Но ведь я же не нарочно...

— Не нарочно... не нарочно... А вот ты посчитай, огурец зеленый, сколько у нас в России корпусов, да в каждом, почитай, по 500 человек, да если каждый из вас варлаганов, не нарочно, будет рвать штаны или мундир... какой убыток казне? ... Нет у меня для тебя штанов, иди в исподних, как камердин Двора, — в сердцах закончил разбушевавшийся каптенармус. Миротворительный тон объяснений Брагина, местами граничащий с извинениями и обещаниями в будущем бережно относиться к казенному имуществу, сломили упорство Никандра Онуфриевича. Он молча направился в дальний угол цейхгауза, и через минуту принес Брагину какое-то подобие чернобурых брюк с вытертым местами ворсом, с несколькими зашпукрованными заплатами, и от долгой носки с вздутыми пузырями на коленях.

— Вот, получай... других твоего размера нет, — буркнул Антипыч, молча отошел к столу и углубился в газету.

Обрадованный Брагин быстро одел брюки, на ходу поблагодарил Антипыча и направился в класс. Его окружили друзья. Все с нетерпением ждали результата встречи каптенармусом. Брагин, с присущим ему комизмом, передавал друзьям сцену с разгневанным Апшеронцем, удивительно удачно копируя его движения и даже интонацию голоса. В заключение под веселый хохот он про-

демонстрировал друзьям жалкое подобие полученных брюк.

— А тебе зачем хорошие? За сегодняшний побег, по положению корпуса, тебе обеспечены три месяца без отпуска, — с веселой язвинкой сказал Полиновский.

— Еще вице-унтер-офицерские нашивки снимут... а для рядового кадета такие брюки клад... Смотри, точь точь как у меня, — весело сказал Коля Евсюков.

— Эх вы бегуны... Не могли сделать глубокого обхода? Так прямо и поперли по аллее, на мол, полковник Гусев, смотри, как мы удираем из корпуса... А где твои унтер-офицерские мозги были? Голубая кровь... Да я бы вас на месте воспитателя оставил на три месяца без отпуска и на три месяца без штанов... За то что не умели правильно удрать, — насмешил всех Мальсагов.

— Да-с... господа бегунцы... попили кофе с барышнями, а завтра перед фронтом всей роты пожалуйте к ответу, — авторитетно закончил Костя Стобеус.

Друзья были подавлены. Оба до болезненности самолюбивые, они ясно себе представляли завтрашний позор, когда перед фронтом выстроенной роты появится «нечаянная радость» — директор корпуса генерал Шпигель, и скрипучим голосом торжественно возгласит: — «Вице-унтер-офицер Брагин и кадет Упорников, два шага вперед». Безмолвная тишина... немногословная речь директора и

суровое наказание за неблагоприятный поступок, построенный на заранее обдуманном обмане.

— Позор, глухо произнес Брагин и после короткого раздумья спросил друга, — А ты думаешь нашивки снимут?

— Можешь не сомневаться... А все твоя Маша...

— Оставь Машу в покое, — резко оборвал Брагин и сразу почувствовал, что ради Маши, ради ее ласкового слова, взгляда, он готов претерпеть большой позор. Далекая, шаловливая Маша овладела мыслями Брагина, и завтрашняя неприятность уже представлялась ему в сладостном ореоле маленького подвига, который может понять и оценить только чуткая Маша.

Четверг прошел спокойно. Директор корпуса, к удивлению друзей, не появился, Брагин все еще ходил с нашивками, и ожидавшие друзей неприятности автоматически пододвинулись к пятнице, которая протекла так же спокойно, как ушедший четверг. Друзья заметно нервничали, класс сгорал от любопытства, полковник Гусев красноречиво молчал. К вечеру Брагин стал заметно нервничать. Завтра суббота, условленная встреча с Машей, а кругом непроницаемый туман неизвестности. Он решил поговорить с воспитателем. Он выбрал минуту когда полковник Гусев был один и, скрывая естественное волнение, четким шагом подошел к нему.

— «Господин полковник, мне надо с Вами поговорить».

— В чем дело, Брагин? — спокойно, с улыбкой, спросил воспитатель, вынимая изо рта дымящую папиросу.

— Мне бы хотелось знать, господин полковник, можем ли я и Упорников идти завтра в отпуск?

— А почему нет? вопросительно спросил полковник Гусев, как бы вынуждая Брагина самого вернуться к совершенному проступку.

— Господин полковник, но ведь мы совершили не хороший поступок, мы . . .

— Вы раскаялись в нем?

— Так точно, господин полковник, — радостно ответил Брагин, уверенный в завтрашней встрече с Машей. Его уже занимал вопрос, почему такой проступок, как побег из корпуса, остался безнаказанным и, выждав минуту неразрешимых сомнений, он просто спросил воспитателя: — Дмитрий Васильевич, скажите — почему вы нас не наказали?

— «За правду . . . За мужество сказать правду», — ласково глядя в глаза Брагина ответил воспитатель, и выждав большую паузу, добавил: — «Я принял вас маленькими детьми и в этом году, может быть, навсегда расстаюсь с вами . . . Семь долгих лет я воспитывал в вас честь и любовь к правде . . . Ваш честный ответ, что вы не бегали на лыжах, а пили кофе у Гедвилло, был наградой за мои долгие труды» . . .

Он положил руку на плечо Брагина, добрая улыбка скользнула по его губам. Воспитатель и ка-

дет молча стояли, каждый в мыслях переживая гордость друга за друга.

— «Иди, Жоржик, обрадуй Упорникова . . . тоже наверно волнуется, пойдет в отпуск или нет», — сказал воспитатель.

— Спасибо, Дмитрий Васильевич . . .

Радостный Брагин не успел сделать трех шагов, как услышал окрик воспитателя.

— «Подожди! . . Я прикажу Антипычу выдать тебе новые брюки», — закончил воспитатель, с улыбкой разглядывая бурое подобие брюк, которыми Антипыч наградил Брагина за неумелое хранение казенного имущества.

МАСЛЕНИЦА

Масленица этого года была поздняя. Уже давно с крыш домов сбросили талый, почерневший от зимней копоты, снег, и в лучах солнечных дней, на разные голоса, слышалась музыка весенней капели... кап!.. кап!.. кап!.. Почернели дороги улиц, звонким серебром зажурчали ручейки, радостно несущие под гору, к Волге, мутные воды весны. К вечеру они замолкали, покрывались тонким слоем узорчатого ледяного стекла лишь только для того, чтобы завтрашним днем навсегда проститься с городом и уйти в еще скованную толстым льдом, Волгу.

В корпусе кадет блинами не кормили, и не потому, что администрация корпуса отрицала установившийся веками масленичный обычай страны, а просто по техническим соображениям, не дающим возможности накормить блинами пятьсот молодых, здоровых, с хорошим аппетитом, юношей. Но когда-то и кем-то была установлена удивительно теплая традиция, в силу которой все воспитатели, преподаватели и даже их знакомые в масленичную субботу и воскресенье группами брали кадет к се-

бе, так, чтобы каждый из них, в семейном кругу, мог приобщиться к культу русских, гречневых, рисовых и манных блинов. Брагин на субботу был приглашен к бывшему кадету, помещику Андрею Мещерякову, а на воскресенье вместе с Упорниковым, Вачнадзе и другими кадетами, к Гедвилло.

Статный, красивый Мещеряков всегда мечтал о военной карьере в русской коннице, но скоропостижная смерть его отца, как раз в год окончания им корпуса, направила его жизнь по другому пути. В свои 18 лет он должен был вступить в управление большим имением и рысистым конским заводом. Так большую часть года он и жил в своем родовом имении, изредка приезжая в Симбирск, погостить у матери и повидать няню Андроновну, вынянчившую его. Он трогательно обожал и маму и няню.

Масленичные гости, преимущественно помещики, съехались как то особенно дружно, и скоро у большого стола, уставленного перламутровыми балыками, розоватой двинской семгой, тешкой, зернистой икрой, настойками: полынка, смородинного листа, березовой почки, стало весело, непринужденно и шумно. Разговор все время вращался около конского спорта, конских заводов, новых рекордов, скрещивания кровей с орловцами и метисами, о том, как, привезенный из Америки, метис «Генерал Эйч», в руках Вильяма Кэйтона, на нос побил непобедимого орловца, рекордиста Крепыша, что половина «Крепыша», через два года кончающего свою спортивную карьеру, куплена

Симбирским помещиком Михаилом Беляковым, а вторая английским правительством.

Брагин с увлечением слушал, подогретые настоячками и вкусными блинами, горячие споры помещиков, и никак не мог понять, как можно купить, или продать пол лошади. Из дальнейших разговоров он уяснил, что до 1917 года, «Крепыш», как производитель, будет находиться на конских заводах Белякова и графини Толстой, после чего, навсегда расставшись с родиной, будет уведен в Англию, для улучшения породы сельскохозяйственной лошади.

... В прощенное воскресенье любители конского спорта обычно устраивали на главной улице, с 12 до 4 дня вольные состязания рысаков одиночек, называвшихся на языке горожан — «масленичным катанием» и собиравших много любопытных зрителей. Последние три года эти состязания неизменно выигрывал, на своем рыжем «Громобое», крупный коммерсант и страстный лошадиник Акчурин.

— А все-таки я привел из имения закуску для Акчурина... Завтра увидите, как мой «К и н» срежет нос его «Громобою», — уверенно сказал чуть охмелевший Мещеряков.

— Андрей Павлович, а вы возьмете меня с собой? — спросил Брагин.

— Конечно возьму... сам симбирский кадет, — ответил Мещеряков, кладя мясистую руку на плечо Брагина.

— Только я не один...

— Кто еще?

— Маша . . .

— Не люблю баб, груз тяжелый . . .

— Андрюша, как тебе не стыдно, — с укоризной сказала мама.

Мама, прости, — с виноватой улыбкой сказал сын, целуя в щеку мать, и повернувшись к Брагину, тихо спросил: — Влюблен, что ли?

Покрасневший Брагин сконфуженно молчал.

— Ну хорошо, ждите меня на Главной, угол Чебоксарской, ровно в двенадцать . . . Так я сговорился с Акчуриным . . .

Воскресение было чуть чуть морозное. В ярких лучах солнца сверкала мелкая алмазная пыль. Диск солнца был окружен трехцветным кругом, меняющим свои нежные тона от глубоко розового до светло желтого, что не предвещало оттепели. Городские часы показывали десять минут первого. Маша и Брагин, пришедшие задолго до условленного срока, уже нервничали.

— Ну вот, наверно не приедет, обманул ваш Мецзяков, — капризно сказала Маша, провожая взглядом несущегося полным ходом серого рысака.

— Приедет, приедет, — успокаивающим тоном ответил Брагин, и взметнув вверх руку воскликнул: — Вон он . . . едет . . . едет . . .

Они устремили взор в левый поворот улицы. На них величаво спокойным тротом надвигался, начищенный до блеска, караковый жеребец «Кин» — запряженный в низкие, болотного цвета санки. Зеленые ленточки были вплетены в гриву и в хвост. В осанке лошади, в гордо поднятой голове, в ма-

леньких нервных ушах, чувствовалась порода. Порównявшись с Брагиным, Мещеряков сдержал коня и, повернувшись к Маше, с улыбкой сказал: — Здравствуйте барышня! Хочу верить, что вы принесете мне счастье . . . Заклад 500 рублей.

— Вы выиграете, — сконфуженно ответила раздурманенная морозом Маша, садясь в санки.

— Ты, Георгий, крепче держи барышню . . . поедem резво, — сказал Мещеряков, натягивая вожжи. Брагин уверенно положил правую руку на талию Маши, глаза которой горели лихорадочным огнем то ли от близкого соседства с Брагиным, то ли от предстоящего интересного состязания. Тем же спокойным тротом они проехали несколько кварталов, когда сзади послышался размеренный, четкий топот копыт, и с санками порównялся огромный рыжий Громобой Акчурина. В белых низеньких санках сидела любимая дочь Акчурина, красавица Нурья, и тонкий, прямой как жердь воспитанник дворянского пансиона. Противники поздоровались и некоторое время ехали рядом. В своих мыслях каждый оценивал достоинства и недостатки своего конкурента. Акчурин бегло но внимательно осмотрел красивую голову, плечо, подпругу и сухие ноги «Кина», туго забинтованные болотного цвета бинтами. Мещеряков, большой знаток лошади, не мог оторвать взора от огромного мускулистого крупа «Громобоя». Он хорошо знал, что такой круп есть залог резвого и устойчивого хода. Четвероногие конкуренты по своему переживали сегодняшнюю встречу. Гордый «Кин» даже не

посмотрел на «Громобоя» и спокойно продолжал свой путь. «Какая невоспитанность», подумал Громобой, и зло стряхнув с нервной бархатной губы густую белую пену, первый повернул голову в сторону соперника и, разглядывая его с уничтожающим презрением, словно проговорил: — Плебей!.. Тоже состязаться... с кем?.. со мной?.. с «Громобоем»?.. в жилах которого течет благородная кровь «Гладиатора» и «Горемычной»...

— А моя бабушка знаменитая «Каналья», — не поворачивая головы бросил «Кин» и, прижав маленькие породистые уши, добавил: — Телегинская «Каналья», установившая на Московском Ипподроме 3-х верстный рекорд...

— Сам ты Каналья, — прошелестело в воздухе, и задравший вверх голову «Громобой» рванул вперед и перешел на рысь. Озверевший «Кин», готовый броситься вперед, нервно приподнялся на задних упругих ногах, но сильные руки Мещерякова властно осадили коня, недовольно взмахнувшего несколько раз головой.

По главной широкой улице в ту и другую сторону на полном ходу неслись разноцветные санки запряженные: вороными, серыми, гнедыми, рыжими рысаками. Симбирск праздновал последние часы масленицы, но центром внимания конечно была схватка Акчурина с Мещеряковым, вот почему, когда они, один за другим, проезжали главные кварталы улицы, в толпе любопытных слышались громкие одобрения по адресу четвероногих героев дня. Противники промяли лошадей широким ма-

хом, открывающим дыхание лошади, разогревающим кровь и подготавливающим ее к состязанию. Они шагом подъехали к месту обусловленного старта. Акчурин вылез из санок, передал вожжи конюху и приблизился к санкам Мещерякова.

— «Орел . . . бровка, решка . . . поле», — с улыбкой сказал он, и подбросив не высоко серебряную монету, снова поймал ее и зажал в больших, поросших волосами, руках.

— «Орел», — так же с улыбкой ответил Мещеряков.

Акчурину досталось поле — Мещерякову бровка, чем он остался не доволен, так как приведенный из тихой деревни «Кин» должен был бежать всю дистанцию вплотную к публике, и Мещеряков боялся, что в наиболее напряженный момент бега, он может испугаться выкриков экзальтированной толпы.

— Поехали? — спросил Акчурин.

— Поехали, — ответил Мещеряков.

Разгоряченные лошади сразу взяли старт и вихрем резали спокойный, чуть морозный воздух, выбрасывая из нервных ноздрей клубы теплого пара. Брагин крепче взял Машу за талию . . . Ошеломленная близким стуком копыт, незнакомым храпом лошадей, она испуганно прижалась к Брагину, поймала его свободную руку и, повернув к нему румяное от мороза лицо, чуть слышно сказала: — Страшно . . . как будто на небо летишь . . . Увлеченный бегом, он ничего не ответил и только крепко пожал ее маленькую руку.

Через мех жакетки он чувствовал учащенное биение ее сердца. Лошади прошли легкий поворот и ввалились в главный квартал улицы. Зрители, затаив дыхание, молча наблюдали необыкновенный бег рысаков, стихийным вихрем несущихся вперед, отстаивая честь своих предков: «Канальи» и «Гладиатора».

«Время» — током пронеслось в мозгу Акчурина. Он чуть ослабил вожжи. «Громобой» правильно понял хозяина, вытянул длинную шею, весь распластался и вложился в низкий, устойчивый ход. Несколько секунд лошади шли голова в голову... Но вот «Громобой» оторвался чуть чуть вперед. Мелькнула радостная улыбка на лице Акчурина, залитое счастьем лицо Нурьи, исчез задний обрез белых санок... Потерявший контроль правильного хода нервный «Кин» висел на сбою. Мещеряков встал, строже натянул вожжи, и на лету парализовал пагубный порыв лошади.

— Давай Мещеряков!.. Что заснул... давай, — редела толпа.

— Кин!.. Кин!.. Кин!.. слышался ободряющий шопот Мещерякова.

— Кин!.. Кин!.. Кин!.. чуть слышным эхом шелестели слова Маши и Брагина. «Кин», в бешеном порыве вперед, едва ли мог слышать слова хозяина, Маши и Брагина. Его стихийно посылали вперед смутные контуры знаменитой бабки — «Канальи». Гордо взметнув головой, низко прижав уши, он, железным посылом Мещерякова, быстро набирал потерянную дистанцию... Словно слу-

чайно мелькнул задний обрез белых санок... снова скрылся... опять мелькнул...

— Мещеряков! Не поддавайся... нажимай, — кричала, вошедшая в раж, публика. Как мгновение, мелькнуло и осталось сзади бледное лицо Нурьи... недобрым огоньком сверкнули глаза Акчурина, и вплотную ритмично заколыхался огромный круп «Громобоя».

— А у нас будут лошади? — близко смотря в глаза Брагина спросила Маша.

— Будут... будут, — восторженно ответил Брагин, ближе прижимая к себе Машу, и пьянея от ее теплого дыхания.

Отстаивая честь предков, лошади продолжительное время шли голова в голову. До финиша оставалось 400—500 сажень. Посылая вперед «Громобоя», Акчурин нервно и часто работал вожжами. Мещеряков, высоко подняв натянутые вожжи, на весу держал «Кина». Он боялся малейшим неправильным движением нарушить ход лошади. Он понимал, что самый незначительный сбой или перехват влечет за собой неминуемый проигрыш, так как по резвому пэйсу бега не мог не признать в «Громобое» сильного и опасного конкурента своему «Кину».

Акчурин сделал последний нервный посыл... «Громобой» на шею вырвался вперед, но захлебнулся, сделал сбой и отпал. Последний посыл оказался роковым, и для Акчурина и для «Громобоя», отдавших, после упорной борьбы, первенство масленичного состязания Мещерякову и «Кину».

ЯБЛОНЯ ЦВЕТЕТ

Симбирск расположен на нагорном берегу Волги. Восточная оконечность города, начиная от огромного, белого здания дворянского собрания, до убогих лачуг пригорода обрамлена двумя общественными садами: Новый Венец и Старый Венец, открывающих красочную панораму нескончаемых фруктовых садов, знаменитой на всю Россию симбирской антоновки, и красавицы Волги, несущей свои могучие воды, где-то далеко внизу. В этих садах горожане находили отдых вдыхая пьянящий аромат весны, палящий зной лета и вкусный мороз снежной зимы. Особенно повышенной любовью горожан пользовались короткие дни цветения яблони, обычно падающие на конец апреля или первые дни мая. В эти солнечные, мягкие дни на обоих Венцах творилось что то невообразимое, и трудно сказать любовалась ли восхищенная публика молчаливой яблоней, или молчаливая яблоня восхищенной публикой. В этом году яблоня цвела особо буйно и дружно, и не мудрено, ибо все яблони сестры-близнецы, вскормленные одной землей, умы-

тые одним дождем, пригретые одним солнцем. Было воскресенье, третий, последний и самый буйный день цветения.

После обеда Маша и Брагин пошли на Венец. Они прошли квартал главной улицы и свернули на Дворцовую, где включились в разноцветный поток людей, одних уже возвращающихся домой, других торопливо стремящихся на венец.

— Это моя первая весна в Симбирске, — сказала Маша, осветив Брагина искрами лучистых глаз и делая ударение на слове — «весна».

— Значит, вы никогда не видели, как цветет яблоня?

— Видела, но не обращала внимания, как то проходила мимо...

— И сегодня пройдете мимо?

— Сегодня нет... сегодня совсем другое, — тихо ответила Маша, прищулив глаза, как бы желая скрыть от Брагина истинный смысл ее ответа.

— А вы любите природу, Маша?

— Станный вопрос...

— Почему странный? Я, например, к ней совершенно безразличен, — с лукавой улыбкой сказал Брагин.

— Неправда... неправда... Как можно не любить природу... не чувствовать синевы неба, не восторгаться богатством ее красок, не трепетать загадочностью звездной ночи... Люди не чувствующие этого плохие... не хорошие... мертвые...

— Значит я плохой... мертвый...

— Тоже неправда . . . Вы говорите нарочно чтобы злить меня . . .

— Маша, вы прекрасны в гневе, но я не виноват, что хочу быть хорошим только для Вас . . .

— И для природы, — с лукавой улыбкой закончила Маша.

Они вошли в сад. Впереди море колыхающихся голов, между которыми, тут и там, мелькали и снова куда-то уходили белые как снег просветы. Скоро перед глазами развернулся нескончаемый белый ковер. Куда не взглянешь, — везде снег яблони . . . Маша, пораженная величием красоты, стояла в каком-то восторженном оцепенении. Широко открытые глаза не могли оторваться от беспредельного белого поля, полуоткрытые губы были бессильны произнести слова восторга.

— Яблоня цветет! — тихо проговорил Брагин, чуть касаясь руки Маши. Как-то не нужно и душно стало в толпе людей, властно захотелось вырваться из круга любознательных глаз и быть только с Машей.

— Маша, пойдемте вниз . . .

— Пойдемте, — радостно ответила Маша.

Они молча спускались по Тихвинскому спуску. Не было слов. Они были не нужны . . . Были мысли, ясные как весенний день мысли . . . Каждый словами боялся нарушить, спугнуть эту обоюдную ясность . . .

В дни цветения яблони многие владельцы фруктовых садов открывали, обычно закрытые, широкие ворота и разрешали горожанам гулять в

садах. Маша и Брагин вошли в первые открытые ворота и скоро вступили на рыхлую, черную землю. Уходящие вдаль ряды яблонь обдали их нежным ароматом цветения. Отдельные лепестки падали, кружились в воздухе как крупные хлопья снега, целовали лицо Маши, и на душе было по весеннему тепло. Они шли между деревьев, и Брагин был взволнован и потрясен тем, что рядом с ним, часто касаясь его своим платьем, идет Маша, такая непонятная, неразгаданная и, вместе с тем, такая родная, близкая, и пахнет от нее цветом яблони, так приятно кружащим голову. Каштаново-бронзовая головка Маши была усыпана белыми лепестками, словно покрыта венчальным венцом. Учащенно забилося сердце, улыбка безотчетного счастья скользнула по губам... — Маша!..

Из под дерева с испуганным кудяхтаньем выскочила клушка и за ней, утопая в рыхлой земле, неумело бежали маленькие желтые цыплята. Один, не успевший проснуться, отстал и тоненьким испуганно-писклявым голоском пищал... пи!.. пи!.. пи!.. Взъерошенная наседка металась из стороны в сторону, оглашая воздух истерическими выкриками. Она хорошо знала арифметику и уже подсчитала, что из 17 нехватает одного, самого маленького, хилого последыша. Куриную душу охватило беспокойство. Клушка чертила крыльями по земле, с криком носилась с одного места на другое и, спасая оставшихся детей, быстро направилась к чернеющей вблизи сторожке. Метким движением Брагин поймал цыпленка и передал его

Маше. Она приложила испуганную птаху к лицу, обдала ее теплом своего дыхания... Тоненькие, прозрачные ножки цыпленка сделали три специфических цыплячих движения, и он спокойно устроился в ладони Машинной руки... Белой пленкой подернулись коринки глаз...

— Тихо Жоржик, он заснул, — шопотом сказала Маша, чуть касаясь прядями волос щеки Брагина.

— Я хочу, чтобы в моей жизни было много цыпунков, — продолжала Маша, закрыв глаза. Брагин, до сих пор не знал, что можно быть счастливым от одного слова, взгляда, легкого случайного прикосновения. Перед глазами мелькнул разрез алых губ, закружилась голова, и через секунду тепло первого, робкого поцелуя сладостной истомой разлилось по всему телу...

— Добро пожаловать, дорогие гости... Дементий... сторож, — приветливо сказал плотный старик, снимая с седеющей головы помятый картуз.

— Не побрезгуйте побаловаться чайком с яблочным вареньем... прошлогоднее... сам варил...

Все направились к сторожке.

— А я несу опечаленной клушке потерянную курочку, — тепло сказала Маша, прижимая к губам спящего цыпленка. Дементий молча два раза дернул цыпленка за клюв, покачал головой, задумался и куда то в пространство сказал: — Жизнь короткая... скоро съедят... потому не курочка а петушок...

Все подошли к сторожке. Маша присела и вы-

пустила на землю будущего петушка. На нее с криком наскочила взъерошенная клушка и вместо благодарности осыпала ее куриными ругательствами. Она быстро увлекла за собой петушка и долго поучала его куриными нотациями.

Сели пить чай. Пузатый, помятый самовар пел тихую песнь, словно сказку рассказывал про яблоню.

Дементий, а вы круглый год живете здесь? — спросила Маша.

— Не то что круглый год, барышня, а круглые годы... Вот почитай уже пятнадцать годов...

— И вам не скучно?

— Да разве с яблоней соскучишься... она мне как дети... Подойдешь к одной, поздороваяешься... молчит... ровно сердится... тоже гордая... потом вдруг зашелестела листьями... заговорила... Морозы пойдут, каждую соломкой окутаешь, чтобы ножки не ознобила... смотришь, другая грустная, хохлится... лекарством поможешь... А сейчас ровно невеста в подвенечном платье.. Каждый год, по сию пору, невестой наряжается... Вот и вы, барышня, скоро невестой будете — яблоней... Чистые слова Дементия залили лицо Маши стыдливой краской румянца, а счастливый Брагин ясно представил себе ее в белом как снег венчальном платье.

Вечерело... прохладой дышал воздух... Дементий проводил гостей до ворот. — Заходите, барышня, в августе, когда антоновка поспеет. Оно, конечно, по ту пору ворота закрыты... народ вся-

кий бывает, а вы постучите да покличите . . . Дементий! . . . Дементий! . . . Я услышу.

Он снял картуз, приветливо посмотрел на обоих и наставительно добавил: — Холодает, а барышня в одном платье, не ровен час простудится . . . захохлится как яблоня.

— Ничего, Дементий, нам не далеко . . . А в августе я обязательно приду. Помогать вам собирать антоновку . . . Хорошо? — тепло сказала Маша.

Снова шли молча, не было слов, все было ясно, и ясностью бились два молодых сердца. Вернувшись домой, Маша попросила Брагина помочь ей решить экзаменационную задачу по алгебре. Они сели за Машин стол совсем близко друг к другу. Задача была сложная, путанная, с двумя неизвестными, но знакома Брагину. За счастье быть рядом с Машей, Брагин умышленно долго решал ее. Незвестные были давно найдены, задача была давно решена, их уже два раза звали ужинать, а они счастливые сидели в наступивших сумерках и решали другую задачу — задачу жизни. В свои семнадцать лет им казалось, что они решили ее. Они не понимали, что задача жизни вся состоит из неизвестных и чаще всего бывает решена неправильно, что сама жизнь вплетает в нее все новые и новые неизвестные и что было ясным сегодня, порождает на завтра недоверие, подозрения, отнимает уважение, без которого задача жизни остается не решенной. Прощаясь с Машей, Брагин впервые почувствовал, что он уходит не один, что, сегодня,

он уносит Машу с собой, уносит в своих мыслях, мечтах.

Он умышленно медленно возвращался в корпус. Ему хотелось как можно дольше остаться одному с мыслями о Маше. Ну конечно, я ни разу до сих пор не любил, думал Брагин. Я просто поклонялся тому, что нарисовало мне мое воображение... Я говорил какие то глупые слова любви, звучащие сейчас такой ложью... Я отказываюсь от них и радостно переношусь в новый мир моей первой и последней любви... Маша!.. Чудная!.. Я люблю только тебя, — вслух закончил Брагин.

— С кем это ты разговариваешь? — весело спросил догнавший его Рудановский.

— Нет, я просто на свежем воздухе повторяю завтрашний экзамен по законоведению...

— Ой, что ты врешь... Тут пахнет не законоведением... Наверно опять не поладил с Машей...

— При чем тут Маша? — вспыхнул Брагин.

Друзья вошли в корпус.

К НОВОЙ ЖИЗНИ

Сдан последний экзамен... Окончен корпус... Красочно, с юношеским задором прошел, скрытый от начальства, выпускной парад вновь испеченных господ юнкеров. В фантастических самодельных формах господа юнкера выстроены в портретном зале по роду оружия и военных училищ. Парадом командует «полковник», просидевший в корпусе вместо положенных семи лет — девять. Парад принимает «генерал» с десятилетним стажем.

— Смирно, равнение направо!!!

— Здравствуйте господа юнкера!!!

— Здравия желаем Ваше Высокопревосходительство!!!

Генерал, копируя в манерах и разговоре директора корпуса, спокойно обошел фронт, поздравил юнкеров с блестящим окончанием корпуса и с торжественным пафосом прочел, звериаду, в которой беспощадно высмеивался административный, воспитательский и преподавательский персонал корпуса — высмеивались «звери».

Парад закончился церемониальным маршем военных училищ и поминутно слышался бодрый возглас генерала:

— «Молодцы Павловцы!!!»

— «Прекрасно Михайловцы!!!»

— «Великолепно Тверцы!!!»

Господа юнкера строем проследовали в ротную умывалку, где, под пение новых куплетов «звериады» генерал сжигает «кадетские науки»: . . . лекции, записки, тетради. После этого торжественного акта каждый чувствует себя уже юнкером. Группами собираются, поздравляют друг друга артиллеристы, инженеры, пехотинцы, конница, и только Брагин стоит на распутии. Он никак не представляет себе дальнейшей жизни без двух друзей: Упорникова и Лисичкина, но первый вышел в Константиновское артиллерийское в Петербурге, а второй в Александровское Военное в Москве. Пылкой и впечатлительной натуре Брагина не давал покоя так же и третий путь поступления в одну из столичных театральных школ и по примеру многочисленных родственников — служение родному искусству. Этими, волнующими его мыслями он не раз делился с воспитателем, но Дмитрий Васильевич всегда ограничивался одной фразой: — «Я подумаю, Жоржик».

Наступил час расставания с любимым воспитателем. Прощальный ужин был овеян печальной грустью как для воспитателя так и для кадета. После ужина, Димитрий Васильевич увлек Брагина в свой кабинет.

— Садись Жоржик . . . Я хочу сказать тебе прощальное слово . . . За последние дни ты неоднократно говорил мне о своем желании пойти на сцену . . . Каждый человек должен стремиться найти правильный путь своей жизни, путь своего призвания. Семь лет я подготовлял тебя к военной карьере, я старался облегчить тебе дальнейший путь твоей жизни, и я уверен, что ты будешь безупречным офицером, как был безупречным кадетом. Что касается твоего желания отдать свою жизнь искусству, реши этот сложный вопрос с своей мамой, — тихо закончил Димитрий Васильевич, крепко пожимая руку Брагина.

. . . Брагин мчался курьерским в Москву, покидая, может быть навсегда, родной корпус, милый Симбирск, мечты и мысли безоблачной юности. Сидя в купэ, он через окно видел, как промелькнули, вросшие в землю бедные постройки пригорода, лес Киндяковки, Гончаровский обрыв, уходящая в даль серебряная лента Волги, а за ней, в туманной перспективе, неясные контуры жизненного пути . . . Загадка . . . лотерея . . . Что дальше?.. Куда дальше?.. Он стал прислушиваться к стуку колес и скоро нашел ответ своим мыслям. Каждое колесо в своем то замедленном то в частом обороте словно говорило ему — «сцена . . . сцена . . . сцена», словно призывало его к определенному решению идти путем своих многочисленных родственников, отдавших свои жизни родному искусству. Он заснул под сладкую музыку колес, с непоколебимым решением — «на сцену».

... Москва ... Казанский вокзал ... перрон ...
множество людей с ищущими взорами ...

— Мама!.. Мама!.. — кричит Брагин с подножки вагона.

— Сын! — слышит он ответные слова счастливой матери.

Объятия, поцелуи, и он чувствует, как по его щеке скатываются одна за другой теплые слезинки ... Счастливые слезы матери.

Огромная столовая Брагиных залита светом двух люстр, по стенам тут и там горят причудливые бра, хрустальные подвески люстр сверкают мириадами звезд. За столом вся семья и родственники. Дед специально приехал из Саратова, сестра Маруся из Тульского имения, дядя Саша — артист большого театра, тетя Надя, Райская Доре — артистка драмы, братья и сестры. Из посторонних — артисты Николай Николаевич Васильев и кумир Москвы Миша Вавич. Жоржик, как юбиляр, сидит на почетном месте рядом с дедом. Через весь стол напротив его — мама, и он все время чувствует на себе теплоту и счастье ее лучистых глаз. Шумно, весело и как-то по семейному душевно и тепло ...

— Что думаешь делать дальше, сын? — слышался ласковый голос мамы. Головы всех повернулись в его сторону, и через секунду тишину прорезал его четкий, уверенный ответ.

— Я иду на сцену, мама ...

— Bravo Жоржик ... bravo, — первой прокричала экспансивная тетя Надя. Ее поддержали дядя

Саша, Васильев, и только мама, казалось, была далека от минутных восторгов, вызванных ответом сына.

Разошлись последние гости, потушены люстры... Все, повинаясь какому-то неписанному закону, отошли ко сну. Мама ласково обняла сына за щеку, и введя его в розовую гостиную, кротко сказала: — Я хочу поговорить с тобой, Жоржик.

Жоржик молча опустил голову в кресло подле мамы. Розовый свет, струившийся из под большого абажура, выхватил из полумрака сосредоточенное лицо мамы.

— Жоржик, я не против того, чтобы ты в своей дальнейшей жизни пошел по пути твоих многочисленных родственников, но сцена тяжелый, тернистый путь, усыпанный шипами людской зависти, интриг, тщеславия... На сцене надо быть сильным, мужественным, а ты еще ребенок... Тебе неполных семнадцать лет, к тому же по линии отца, ты производишь из военной семьи... Мама остановилась но, увидев вопрошающий взгляд сына, прижала его к груди и продолжала: — Я хочу, чтобы ты пошел в Военное училище, отслужил бы родине законные три года, и тогда, уже хлебнув самостоятельной жизни, ты, если найдешь нужным, можешь сменить военную карьеру на великое служение искусству.

Жоржик, молча обнял маму, приложил к губам ее седеющие виски, — это был молчаливый ответ сына-матери. Через несколько дней Брагин записался юнкером в Александровское Военное

Училище, что на Знаменке. Спутником его юнкерской жизни остался Володя Лисичкин.

Через неделю семья Брагиных выехала на дачу в Петровско-Разумовское, где Жоржик быстро вошел в компанию, окончившего 3-й Московский кадетский корпус и тоже вышедшего в Александровское военное училище, кадета князя Друцкого-Соколинского. Компания была беспечная, шумная, веселая. Ежедневные встречи «кукушки», из маленьких вагонов которой высыпали на лоно природы нарядные москвичи и москвички, пикники, поездки верхом, а вечерами танцы в курзале, были той атмосферой, в которую радостно окунулся Брагин перед ожидающей его суровой и казенной жизни военного училища. Душой компании была очаровательная своим своеобразием Ирина Борг, светлая блондинка с загадочно смеющимися голубыми глазами. Ее нельзя было назвать красивой, но в ней было что то притягивающее, что волновало, заставляло искать новых встреч и томительно чего-то ожидать. Она знала силу своих чар и искусно пользовалась ими. Брагина, она избрала предметом своих всегда изящных капризов, мелких непониманий, коротких ссор и радостных, снова, что то обещающих примирений. Она быстро овладела им, его мыслями, сама оставаясь в ореоле какой то загадочности. Брагин, не раз в своих мыслях, сравнивал ее с Машей, не раз давал себе слово прекратить эти ненужные встречи, и на другой день снова смотрел в прищуренные, загадочные глаза Ирины. Как то спокойным ласковым

вечером вся компания шла по скошенным полям. Воздух пьянил ароматом сочной травы. Было просто и весело. Ирина шла рядом с Брагиным. Издавали манили душистым обещанием стога сена.

— Убежим в стога, — закинув голову и поймавши руку Брагина сказала Ирина, и, не дожидаясь ответа, увлекла его за собой... Они с разбега бросились в первый стог... Перед глазами мелькнул изгиб стройной ноги укутанной пеной белых кружев... Брагин лицом уткнулся в мягкий ворох свежей травы и в истоме вдыхал ее пряный аромат. Чьи то нежные руки коснулись его волос... Маша! — подумал он и поднял голову. Два глаза обожгли его искрами желания... Ирина тяжело дышала... Разрез алых губ трепетно искал первого касания... Подошла компания... Все разместились у стога... Снова смеялись, снова шутили, и только Брагин в мыслях обнимал Симбирск, обнимал далекую, чудную Машу.

— Господа, завтра все у меня, — весело прощепетала Ирина, в упор глядя на Брагина.

— Извините Ирина, но...

— Никаких извините и никаких но... Завтра день моего рождения и вы будете у меня... Я так хочу, — капризно властно закончила Ирина.

— Мне завтра обязательно надо быть в Москве...

— В день рождения Ирины, московские дела могут подождать...

— Тогда разрешите мне приехать позже...

— Нет не разрешаю...

Общий смех покрыл последние слова Ирины. Друзкой что-то сострил, а Брагин чувствовал себя немного оскорбленным тоном Ирины. Вернувшись домой, он твердо решил послать Ирине цветы и уехать с ночевкой в Москву. Ночью он писал письмо Маше.

Маша милая,

Уступая просьбам мамы, я поступил в Александровское Военное Училище. Два года училища и три обязательных года в войсках могут оказаться нашей вынужденной разлукой. В мыслях своих, как и сейчас, я всегда буду с Вами. Лето провожу в Петровско-Разумовском, под Москвой, в компании нового друга князя Друцкого. Компания дружная и веселая. Всеми, кроме меня, управляет Ирина Борг. Славная и вместе с тем какая то странная. Не могу понять ее, да откровенно говоря, и не стараюсь. Завтра день ее рождения. Я приглашен, но твердо решил не ходить. Поеду в Москву. Пишите, не забывайте.

Мечтою с Вами, Георгий.

Днем Брагин получил через посыльного записку от Ирины.

Жорж,

Вы мне нужны. Я хочу чтобы вы помогли мне украсить фонариками сад. Будьте хорошим, приходите как можно скорее.

Жду, Ирина.

Брагин в Москву не поехал.

В ПОИСКАХ МИНУВШЕГО

В сентябре 1914 года Брагин, в боях за Августовские леса, был дважды ранен, и если ранение в грудь (не навывлет) можно было отнести к ряду легких, то ранение в левую руку, с раздроблением лучевой кости, считалось серьезным, во всяком случае требующим длительного лечения. С фронта он был привезен в Москву и помещен в госпиталь дворянского собрания, что на Большой Дмитриевке, где с радостью встретил тяжело раненого однополчанина и однокашника по корпусу Володю Лисичкина. В госпитале Брагин однако задержался не долго и скоро переехал домой к своей матери, а госпиталь посещал только для перевязок. Дома он был окружен заботами и лаской: мамы, старушки бабушки и сестры Гали. Огромная столовая, углом выходящая на Тверскую и Георгиевский переулок, была превращена в мастерскую, где с утра до поздней ночи шумели швейные машины. Приносились тюки кроеной материи, шилось теплое белье для солдат, упаковывались рождественские подарки на фронт, и этот мура-

вейник с жертвенно-неутомимыми молодыми и пожилыми дамами затихал только к ночи. Все исключительно тепло относились к Брагину, но он очень не любил и даже конфузился, когда очаровательная, рыжекудрая Милочка Андреоли при его появлении отрывалась от машины и громко оповещала всех: — «А вот и наш храбрый герой!» Брагин не считал себя трусом, но не считал и храбрецом. От неправильно положенных на перевязочном пункте полка лубков у Брагина образовалась сильная отечность кисти, и началось неправильное сращение костей. Потребовалась срочная операция. Брагин нервничал и не столько от предстоящей операции, сколько от затяжки срока выздоровления, мешающего ему вернуться в полк.

Скоро его потянуло в Симбирск, в родной корпус. Ему неудержимо хотелось еще раз, может быть последний раз в жизни, повидать полковника Гусева. Его тянул в Симбирск Михеич, такой русский и так сильно любящий Суворова и Волгу. Вскоре он получил теплое, полное волнений письмо Маши.

Жоржик!

Из газет узнала, что вы ранены и привезены в Москву. Какой ужас быть так далеко, и не иметь возможности облегчить ваши физические страдания. Решила ехать в Москву, но вспомнила, что около вас ваша чудная мама, и немного успокоилась. Папа и мама посылают вам привет и очень про-

сят вас провести весну и отдохнуть у нас. Вы так любили Симбирскую весну, когда начинается цветение яблони... Помните, как мы гуляли с вами в фруктовом саду? Помните этого хорошего сторожа, сравнившего меня с яблоней? Забыла его имя. Помните, как нежные отжившие лепестки словно апрельский снег падали на нас? Приезжайте... пишите...

М а ш а .

Брагин отложил в сторону письмо и задумался. Он помнил не только фруктовый сад и падающие лепестки яблони, он помнил слова уверений в вечной любви, в безграничном счастье будущей совместной жизни... Каким-то внутренним чутьем он сознавал, что Маша осталась верна чувству своей первой любви, тогда как его юношеский роман, как-то совершенно незаметно для него самого, испарился из его души, оставив лишь чуть ощутимый след какой-то красивой чистоты и нежности. Он еще раз перечитал письмо Маши и решил поговорить с мамой. С мамой у Брагина еще с детства установились, а впоследствии остались на всю жизнь, какие-то теплые отношения, исключаящие возможность какой-либо тайны.

Вот почему, когда утих муравейник, и все разошлись по домам, он подошел к маме, обнял ее и просто сказал: — Мама, мне нужен твой совет. Он увлек ее в розовую гостиную, усадил в глубокое мягкое кресло, и сам сел близко напро-

тив ее. Ровный свет большой настольной лампы мягко освещал двух друзей, — маму и сына.

— Мама, разреши мне поехать в Симбирск, — тихо начал Брагин, и когда мама подняла на него свои кроткие глаза, он как в книге прочитал все, что она молча переживала сейчас: горечь предстоящей, даже временной, разлуки с ним, возможность его скорого отъезда на фронт и страх, безотчетный страх никогда в жизни его больше не увидеть. Ему стало жалко маму. Он привлек ее к себе и, целуя в усталые глаза, виноватым шопотом добавил: — Я не надолго, мама... Хочется в корпус... к Михеичу... и вот еще письмо Маши... Я не знаю как поступить с ней, — закончил он, передавая маме письмо. Мама внимательно прочитала письмо Маши. Она знала юношеский роман сына. Она познакомилась с Машей, когда она курьерским приехала в Москву только для того, чтобы одеть на шею Жоржика маленький золотой крестик. Она помнила, как Маша, прощаясь с ним, сказала: — «Я верю, он сохранит вас... для мамы.»

Мама передала письмо сыну и после долгой паузы, показавшейся Брагину невероятно долгой, тихо сказала: — Маша любит тебя, Жоржик... Любит жертвенной любовью, ты же мучаешься тем, что твое чувство к ней умерло... ушло... ушло, как незаметно для нас самих уходят дни недели... как уходит понедельник, среда... суббота... Ушедшим дням возврата нет так же, как ушедшему чувству... Ты мучаешься тем, что ког-

да-то, по молодости лет, слишком много обещал Маше, и что сейчас не можешь сдержать эти обещания... Жизнь двух людей, Жоржик, балансируется законом обоюдности — обоюдности мысли, желаний, рождающих творческое начало жизни... обоюдности чувств, жертв и любви, прощающей на каждом шагу ошибки...

Мама остановилась, взяла руку сына, и нежно поглаживая ее, продолжала: — Ты ни в чем не виновен... и ты и твои слова были искренни, но все, что ты говорил и обещал, было красивой, чистой правдой того дня, которым до сих пор живет Маша, и который ушел для тебя... Почему же ты теперь боишься сказать правду?

— Мне жаль Машу...

— Жалость хуже правды... она дает надежды... Запомни на всю жизнь, что самая горькая правда лучше неизвестности... Мама встала, руками взяла голову сына и, близко смотря ему в глаза, с любовью сказала: — Хороший ты у меня... Старайся всю жизнь остаться таким... Поезжай в Симбирск, повидай Машу и честно скажи ей все.

После беседы с мамой Брагин чувствовал как будто он побывал на исповеди. На душе стало как-то чисто и ясно, и сам он стал какой-то легкий и понятный самому себе. Его уже давно тяготили отношения к нему Маши. Они уже не виделись пять лет, если не считать ее внезапного приезда в Москву проститься с ним, когда он ехал на фронт, но по ее письмам он ясно чувствовал, что

она осталась и хочет остаться все той же Машей, которую он случайно встретил на катке, ради которой убегал из корпуса, ревновал к уланскому корнету, гулял под яблоней. Ему было бесконечно жаль Машу за незаслуженное постоянство к нему, за чистоту и верность этого постоянства, и в своих умышленно редких письмах он, сам не создавая того, снова давал ей чуть ощутимые, построенные на жалости, новые надежды. Как хорошо сказала мама — «Жизнь двух людей держится законом обоюдности», — подумал он и вслух закончил: — Нет обоюдности, и нет жизни... Он ответил Маше преувеличенно теплым письмом, поблагодарил за приглашение, написал, что будет рад ее видеть, но что свой короткий отпуск уже обещал провести у полковника Гусева. На другой день Брагин в английском магазине Дукса купил для Михеича двухфунтовую банку трубочного табаку, и через три дня скорым отбыл в Симбирск.

Брагин любил ездить поездом. Ему нравился этот специфический запах вагона, отдельный мир купэ, поющий одну и ту же мелодию стук колес... Он любил смотреть через стекло широкого окна на зеленеющие пашни, голубую даль неба, перелетную птицу, мелькающие полустанки и телеграфные столбы...

Тронулся поезд, по стали рельс заскрежетали тяжелые колеса, вагон качнуло на выходной стрелке, увеличивая скорость, поезд свободно резал прозрачный весенний воздух... В полуоткрытое окно врывался теплый воздух весны. Брагин

отдался своим мыслям . . . Смутные, отрывочные, они беспорядочно громоздились в мозгу, то возвращая его к только что оставленной маме, то переносили его в стены родного корпуса, рисовали силуэт ожидающей его Маши, неудержимо тянулись к заволжским просторам . . . к Михеичу. Удивительная вещь мысль, подумал Брагин. В одно мгновение она может перенести тебя на десятки, сотни, тысячи верст к лицам и местам, о которых ты думаешь. И так как последней мыслью Брагина был Михеич, ему ясно представился знакомый изгиб Волги, серебро воды, маленькая, утопающая в прибрежной зелени, рыбацья сторожка.

— Ваши билеты, господа, — издали послышался сочный голос старшего кондуктора, и скоро в просвете полуоткрытой двери купэ показалась щуплая фигура контролера, в форменном сюртуке. Контролер как-то виновато взял из рук Брагина билет, и так же виновато спросил: — В Симбирск изволите ехать? Ранены? Простите за беспокойство . . .

— В Рузаевке пересадка . . . Не извольте беспокоиться . . . Я вас оповещу, — участливо проговорил упитанный кондуктор. Мысли побежали совершенно по другому направлению и сконцентрировались на том теплом, предупредительном и заботливом отношении знакомых и незнакомых людей с момента прибытия Брагина в Москву раненым. Перед глазами ясно воскресла недавняя картина. Санитарный поезд земства в клубах пара врезался в дербакадер Александровского

вокзала... Толпа встречающих москвичей... На перроне в белых халатах: врачи, сестры, санитары, администрация госпиталей... Едва Брагин спустился со ступенек вагона, его обступили студенты и курсистки с опросными листами, которые здесь же передавались на регистрационно-распределительный пункт. Но что поразило Брагина — это теплота, искренность и самоотверженность их работы, работы противников самодержавия, сознательно или бессознательно включившихся в патриотический подъем страны.

Брагин отошел от регистрационного стола. К нему подошла элегантная дама и, подавая маленький букет голубых незабудок, просто сказала: — Желудская, Нина Александровна... Разрешите на моем экипаже доставить вас в госпиталь. Вы определены в дворянский... я в нем работаю... Брагин с радостью принял приглашение Желудской, и через минуты они сели в роскошный экипаж, запряженный сытой, холеной лошастью.

— Куда прикажете, барыня? — почтительно спросил, укутанный в вату казакина, кучер.

— По Тверской — в госпиталь, Геннадий...

— Слушаюсь...

— Теперь скажите вашу фамилию, — просто, с улыбкой, спросила Нина Александровна, повернув красивую голову в сторону Брагина.

— Простите... Брагин... Я просто был ошеломлен незаслуженным вниманием с вашей стороны, — извинительно ответил Брагин, переведя взгляд на незабудки.

— Мой любимый цветок... У вас никого нет в Москве?... чтобы я могла...

— Как никого?... Я коренной москвич... У меня здесь мама, сестры, очаровательная старушка бабушка, Мария Ивановна Аничкова... Я не давал телеграммы, чтобы не волновать их, ранение пустяковое...

— Вы сказали, Аничкова?

— Да...

— Совсем белая, маленькая старушка?

— Да...

— Пойдите, пойдите... Да ведь это же общая любимица госпиталя... Может быть мы еще застанем ее, — радостно воскликнула Нина Александровна, переводя взор на круглые часы, покоившиеся на талии кучера.

— Геннадий, поезжайте резвее... нам надо застать в госпитале Марию Ивановну... вы знаете, старушку, которую вы часто отвозите домой...

— На Георгиевский один, как не знать... ба-рыня настоящая...

Через десять минут Брагин прижимал к себе исхудавшее тело 72-х летней бабушки. Она дрожащими костлявыми руками гладила голову любимого Жоржика и неудержимыми слезами смачивала щеки счастливого внука.

— Мария Ивановна!.. Не откажите выпить, — ласково сказал старший врач, подавая старушке мензурку с успокоительными каплями.

.

Брагин закрыл глаза... мысли одна за другой, постепенно оставляли его, уходили куда-то далеко, далеко, словно растворялись в темноте наступающей ночи... Брагин заснул...

Яркое весеннее солнце ласковым светом заливало переполненный вагон-ресторан... Официанты в белых накрахмаленных куртках суетливо разносили по столам: утренний кофе, завтрак, фрукты.

— Последнее место, — почтительно сказал метр-д'отель вошедшему Брагину, указывая на маленький столик в противоположном конце ресторана. У столика, полуоборотом к подошедшему Брагину, сидела элегантная дама, устремив взгляд в чистое полированное стекло большого окна.

— Вы ничего не будете иметь против? — склоняя голову спросил Брагин.

— Разумеется, нет, — ответила незнакомка, переводя на Брагина смеющиеся глаза.

— Екатерина Максимилиановна! Какими судьбами? Приятный сюрприз, — радостно воскликнул Брагин, и прочитав в глазах незнакомки удивление, добавил: — Я бывший симбирский кадет... Брагин... Вы, конечно, не можете помнить меня... Ведь мы все на один шаблон... Черный мундир, синий погон, замшевые перчатки... но мы, которые хоть раз побывали на ваших пышных балах, пожизненно помним радушную мисс Френч.

— Я очень рада, — протягивая обе руки Брагину, просто сказала мисс Френч.

— Садитесь . . . садитесь . . . Так приятно провести нудное время поезда в обществе симбирского кадета и боевого офицера.

Она перевела взгляд на черную косынку и только что смеющиеся, радостные глаза подернулись грустью участия и жалости.

Мисс Френч, английская подданная по отцу, русская по матери, участливо расспрашивала Брагина об обстоятельствах его ранения, о временных неудачах русской армии, рассказала о настроениях столицы, из которой возвращалась в свое родовое имение — «Киндяковку».

Екатерина Максимилиановна, объездившая весь свет, была необыкновенно интересной собеседницей, а маленький ирландский акцент, при безукоризненном знании русского языка, придавал ее речи какую-то особую прелесть случайного комизма, когда она думала по английски, а выражала мысль по русски. Новые друзья отказались от обеда в душном вагон-ресторане и решили пообедать на станции Рузаевка, на всю губернию славившейся своей изысканной кухней.

РУЗАЕВКА

Рузаевка крупная деповская станция примерно на пол пути между Москвой и Симбирском, где скрещивались три железнодорожных линии, где пассажирам, следующим из поволжья в столицу и из центральных губерний в поволжье, приходилось делать пересадку и зачастую ждать своих поездов три, четыре часа, а в зимние заносы и целые сутки. Предприимчивый буфетчик вокзального ресторана учел это обстоятельство и поставил кухню ресторана на такую высоту, что она славилась на всю губернию. Любители и даже не любители поесть с удовольствием проводили томительное время вынужденного ожидания в вокзальном ресторане, наслаждаясь изысканными, всегда свежими и вкусными, закусками и блюдами. Буфетчик медленно, но верно богател.

Огромный пассажирский паровоз в клубах белого пара, словно усталый от долгого бега, радостно остановился на станции «Рузаевка». Короткий свисток, он отделился от состава и быстро, шумя тяжелыми колесами, побежал к станционной во-

докачке, утолить жажду студеной рузаевской водой. Пассажиры высыпали из вагонов... Брагин встретил мисс Френч, и скоро они вошли в огромный станционный ресторан, наполовину занятый публикой. Дохнуло своеобразным ароматом вокзала. Всюду суетились какие то озабоченные люди, носильщики в белых фартуках перетаскивали чей-то ручной багаж, официанты на блестящих «под серебро» подносах разносили на столы вкусные, раздражающие аппетит, блюда. Мисс Френч и Брагин опустились у маленького стола, покрытого белой накрахмаленной скатертью. Через минуту на больных, усталых от жизни, ногах к ним бесшумно подошел седой официант. Одутловатое лицо было чисто выбрито, в петлице белой куртки серебром блестел номер один, что на языке ресторана означает — «главный».

— Добро пожаловать, — без тени лакейского раболепства приветливо произнес старик, слегка наклонив седую голову, и подавая мисс Френч карточку меню. Он перевел взгляд на Брагина и, сочно причмокнув губами, тихо начал, — Прикажете накормить ваше благородие?.. Холодной осетринки с янтарным жирком под хреном... перламутровый севрюжий балычек с лимончиком, грибков в сметане или томленого карася?

Брагин с увлечением слушал своеобразную поэму о еде, а старый гурман, вторично причмокнув губами, продолжал: — Щец кислых извольте отве-
дать... первые на губернию... Не обидьте моло-

дого поросеночка с гречневой кашей, с корочкой хрустящей...

— Екатерина Максимилиановна! Доверимся... Как вас?

— Пал Палыч...

— Доверимся Павлу Павловичу... Он уже разжег мой аппетит... Он нас накормит...

— Я ничего не имею против... только, Павел Павлович, предупреждаю, я очень голодна...

— Не извольте беспокоиться, сударыня, — с улыбкой ответил Пал Палыч и, скося взгляд на Брагина, спросил, — К мясу прикажете бутылочку красного подогреть?... Удельного ведомства?... Отменное вино... Пал Палыч бесшумно удалился... Через несколько минут стол был уставлен закусками. Мисс Френч и Брагин ели с большим аппетитом, а вдали незаметным наблюдателем стоял «поэт еды» Пал Палыч. Он быстро убрал закусочные тарелки, налил в бокалы теплого красного вина и замер в торжественном ожидании. Маленький мальчик, весь в белом, подкатил тележку, на мраморной доске которой покоилась глыба сочного вареного мяса, по верху обрамленная слоем мягкого жира. Монументальный повар, в белом накрахмаленном колпаке, с набором острых ножей у левого бедра, приблизился к тележке. Привычным жестом, в котором чувствовалось безукоризненное знание скотской анатомии, он, словно шутя, отрезал два тонких куска мяса и изящно сбросил их на подставленные Пал Палычем тарелки мисс Френч и Брагина. Пал Палыч залил мясо хреном

с сметаной, и вся процессия с поклоном удалилась. Завтрак проходил в непринужденных тонах. Вкусная пища, хорошее вино создали хорошее настроение, но разговор все время вращался около уставшего от жизни Пал Палыча, излучающего какую-то теплоту и благожелательность, сохранившего достоинство человека и лишенного лакейского угодничества. Брагин высказал мысль, что вот таким людям как Пал Палыч, ему всегда как то неудобно оставлять чаевые, в каковых есть все-таки что то обидное для человека.

— Доверьте это сделать мне . . . Между прочим, я испытываю тоже самое ощущение, но мы, женщины, в некоторых деликатных вопросах жизни много тоньше вас мужчин. Она знаком подозвала стоявшего вдали Пал Палыча.

— Пал Палыч, у вас есть дети? — тепло спросила она.

— Три сына . . . все на войне . . . Внучатами балуюсь, сударыня, — ответил Пал Палыч, и его старческие глаза загорелись огоньком ласки.

— Девочки?

— Две девочки и мальчик . . . Наташа, Ирина и Павел . . . в честь меня назвали.

— Пал Палыч, следующий раз, когда я буду проезжать Рузаевку, мы с вами поедem к вашим внучатам . . . Я люблю детей . . . а пока вы купите им от меня много, много игрушек . . . хорошо? — тепло сказала мисс Френч, застенчиво кладя на стол несколько пятирублевых бумажек. Неожиданный и резкий колокольчик прорезал воздух . . .

Станционный швейцар торжественно возгласил, — «Первый звонок . . . скорый на Симбирск».

— Пал Палыч, счет, — сказал Брагин.

— Простите ваше благородие . . . С раненных господ офицеров не приказано получать.

— Как так? — удивленно спросил Брагин.

— А это, ваше благородие, вы уж с хозяином переговорите, — учтиво ответил Пал Палыч.

— А где хозяин?

— Артем Ильич за прилавком . . . вон там, спокойно сказал Пал Палыч, рукой указывая на огромный буфет, где за прилавком на высоком круглом стуле, как монумент, возвышалась не в меру располневшая фигура буфетчика.

— Простите Екатерина Максимилиановна, — приподнявшись со стула сказал несколько возбужденный Брагин, направляясь в сторону буфета. Мисс Френч, простившись с Пал Палычем, последовала за ним.

.

— Могу я говорить с Артемом Ильичем? — спросил Брагин.

— Мы-с будем . . . Чем могу служить?

— Артем Ильич, . . . я очень тронут вашим великодушием, но я категорически настаиваю, чтобы вы получили с меня деньги за завтрак . . . Вы поставили меня в не совсем удобное положение перед дамой, — закончил Брагин, не заметив подошедшей мисс Френч. Артем Ильич низко опустил голову. Заплывшие нездоровым жиром руки по-

коились на прилавке, короткие пальцы нервно постукивали. Брагин думал, что сказанные им слова убедили взбалмошного буфетчика и торопливо нащупывал в кармане бумажник. Артем Ильич поднял свою огромную голову и, смотря прямо в глаза Брагина, виновато начал, — Я, господин офицер, не хотел обидеть ни вас ни вашу даму... Вы с фронта?... Ранены?... А кого вы защищали?... А р т е м а... толстого, с больным сердцем Артема, он сам защитить себя не может... Артем воюет из Рузаевки... воюет, как умеет, от чистого сердца... русского сердца... Он низко склонил свою голову, тяжело дышал, видно было, что ему не хватает воздуха.

Брагин был подавлен словами Артема, ему было стыдно, что он не понял порыва этого скромного русского человека, не почувствовал богатства его души. Он не знал, что ответить Артему, но на выручку пришла мисс Френч.

— Артем Ильич, у вас есть шампанское? — весело спросила она, отрывая и Брагина и Артема от их мыслей.

— Есть сударыня...

— Дайте три бокала и шампанского...

Артем, с трудом передвигая свое грузное тело, принес шампанское и, когда вино было налито, мисс Френч первая подняла бокал.

— За вас Артем Ильич... За вашу... Обрусевшая ирландка остановилась подыскивая правильное слово.

— За вашу русскость, — закончила она, первая выпив бокал шампанского.

— «Второй звонок . . . скорый на Симбирск».

Брагин заплатил за шампанское, может быть навсегда простился с Артемом Ильичем, и вместе с мисс Френч заспешил на перрон. Стоявший в стороне Пал Палыч грустным взором провожал уходящих.

В РОДНОМ ГНЕЗДЕ

Брагин простился с Екатериной Максимилиановной, радостно принял ее приглашение побывать в Киндяковке, где мисс Френч обычно проводила весну, и вошел в свое купэ. Он рад был тому, что остался один. Ему хотелось разобраться в мыслях, неожиданно рожденных Артемом Ильичем. Он полуоткрыл окно, опустил на мягкое сидение и отдался своим мыслям. Весенний воздух свежестью наполнил душное купэ. Тронулся поезд... В обратную сторону, сначала медленно, потом все быстрее и быстрее, побежали: вагоны, станционные здания, путевые стрелки, запасные пути, телеграфные столбы... Железом прогремел маленький железнодорожный мост. Внизу, лаская прибрежные ивы, несла мутные воды весны своенравная шумливая речушка, извивающаяся вдали серебром змеиной чешуи. Поезд потонул в безбрежном море пашень, несущих к опаловому горизонту зеленые волны хлебов. Необъятная русская ширь, подумал Брагин. Неописуемая красота покоя, беспредельный простор, поглощающий мысль, напол-

няющий душу шопотом несозревших хлебов, ароматом родной земли. Мелькнули отдельные хижины и скоро на недалеком пологом холме открылась панорама большого села. Маленькие домики, как белые грибы, облепили склоны холма. На фоне чернеющей зелени высился купол сельской церкви. В лучах заходящего солнца золотом горел крест Христовой правды.

— Кто несет свои муки и горести на алтарь этой маленькой церкви? . .

— Кто находит в ней утешение своим слезам и печалям? — подумал Брагин.

«Приидите ко мне вси труждающиеся и обремененные и аз успокою вы». — «А р т е м ы» — вслух сказал Брагин, и мысль неудержимо понеслась обратно в Рузаевку. В вечернем мареве, на фоне удаляющейся церкви, как живой встал образ больного сердцем, задыхающегося Артема с его бесхитростными словами.

А разве Нина Александровна с маленьким букетиком незабудок — не Артем? А Пал Палыч, который балуется внучатами? А старушка бабушка, а мама? А эти скромные, никому не известные женщины с раннего утра до поздней ночи пакующие посылки на фронт? А курсистки, студенты, разве на сегодняшний день они не Артемы?

— А р т е м ы ! — вслух ответил Брагин своим мыслям. Артемы, разбросанные по необъятному лику русской земли . . . Временные неудачи на фронте уйдут, как уходят весной снега . . . Стихий-

ный поток Артемов, обрушится на врага, раздавит и уничтожит его...

— Мы победим, — вслух сказал Брагин, и, словно подтверждая его слова, колеса быстро несущегося под уклон поезда, торопливо повторяли: «победим... победим... победим...»

— «Победим», — утвердительно ответил протяжный свисток паровоза.

— «Победим», — повторило далекое эхо.

Брагин решил сократить свое вынужденное, связанное с лечением руки, сидение в тылу и как можно скорее вернуться в полк. В мыслях своих он боялся опоздать к победоносному потоку русских армий, русских Артемов, в окончательной победе которых он не сомневался. Он долго смотрел на меняющиеся краски вечерних сумерок, предвестников наступающей ночи. На далеком небосклоне каймой темно синих кружев бежали лесистые холмы. Где то далеко в лиловом тумане зажглась первая звезда, за ней вторая, третья и как в зеркале, отразилась на земле мерцающей цепью огоньков жизни, одинаково освещающих чужое горе и радость, добро и зло. Свежий воздух ночи, порывами врываясь в окно, приятно охлаждал мысли и мозг Брагина. Притушив свет, он скоро заснул крепким сном.

... Скорый прибыл в Симбирск точно по расписанию — в 7 часов утра. Из запыленных вагонов буйно повалили пассажиры, словно соскучились по свежем воздухе. Брагин, предводимый носильщиком, протискивался сквозь суетливую, то-

ропливо-бестолковую толпу встречающих и прибывших людей. На вокзальной площади он взял извозчика и направился к Гусевым. Экипаж загремел колесами по булыжникам широкой улицы, ведущей в город. Утро проснулось солнечное яркое, и над спящим городом еще царила тишина. Слева и справа, скрываясь в зелени палисадников, мелькали серые, зеленые, белые домики. Кругом цвела сирень, майская-лиловая. Тяжелые грозди, отдавая воздуху нежный аромат, стыдливо умывались утренней росой. По обочине дороги, в пыли, купались воробьи. При приближении экипажа они торопливо встряхивали крылышками и перелетали на другое место, оглашая воздух веселым чириканьем. Высоко в воздухе кружила стая белых голубей. Извозчик свернул на Покровскую улицу. Конь резвее пошел по шоссированной дороге и скоро вдали, красным кирпичем засияло трехэтажное здание родного корпуса. В зияющей черной пропасти открытых окон строевой роты тут и там мелькали фигуры уже вставших кадет. Чуть слышно донесся знакомый звук трубы дежурного горниста.

— «На молитву», — шопотом сказал Брагин, словно боясь нарушить непрерывную цепь далеких и близких воспоминаний, властно охвативших его. Он в уме повторял молитву — «Отче наш» и его лицо залилось краской стыда, когда он путался в словах тропаря св. Андрею Первозванному, который, за пять лет отсутствия из корпуса, частично забыл.

Приехали, ваше благородие, — сдерживая лошадь и повернувшись к Брагину, сказал бородастый возница. Гнедой конь, фыркнув два раза раздутыми ноздрями, скосил потную голову и пристально хитрым взглядом бесцеремонно разглядывал Брагина, как бы интересуясь, сколько за хороший бег ему перепадет на овес. Брагин щедро расплатился с извозчиком, ласково потрепал коня по мокрой шее и с небольшим чемоданом, составлявшим весь его багаж, легко вбежал на третий этаж по знакомой лестнице. Он нажал маленькую, тоже знакомую, кнопку звонка, и через секунду в просвете открытой двери показались радостные Елена Константиновна и Дмитрий Васильевич Гусевы. Они радушно, по родственному, встретили Брагина. Дмитрий Васильевич завладел его чемоданом, проводил в приготовленную для него комнату, и сам помог ему переодеться. Из столовой доносился звук расставляемой посуды, и тянуло ароматом вкусного кофе. Из разных комнат утренней трелью перекликались канарейки, страстным любителем которых был Дмитрий Васильевич. Брагин стоял у аквариума, с улыбкой наблюдая за шаловливой игрой светящихся рыбок, как в зеркале отразивших его светящееся, шаловливое детство.

— Дмитрий Васильевич, а где Дагор?

— Дагор пропал... собачий век короткий...

— Кофе на столе, — послышался нетерпеливый голос Елены Константиновны.

Все сели за стол. Брагин сразу заметил свои

любимые, сдобные булочки, топленые сливки — «каймак», и горячие слоеные пирожки. Разговор все время вращался около войны, но что поразило Брагина, он совершенно не касался временных успехов или неудач русских армий, больших потерь, ужасов войны, а был заключен в узкие рамки семьи симбирцев. Димитрий Васильевич с гордостью рассказывал о подвигах,, совершенных бывшими симбирскими кадетами, особенно тепло остановился на подвиге его воспитанника — Прибыловича, и с грустью перечислял имена кадет, на поле брани живот свой положивших. Елена Константиновна поминутно подносила к влажным глазам маленький батистовый платок, и вообще создавалось впечатление, что войну ведут одни симбирцы.

Большие стенные часы хриплым звоном пробили девять. Канарейки испуганно прекратили трели. Димитрий Васильевич заспешил в корпус.

— Я веду класс нестроевой роты, второе отделение . . . заходите, Жоржик, — с улыбкой сказал он, покидая столовую.

Через час Брагин, садом, примыкавшим к зданию воспитательских квартир, направился в корпус. Он шел боковой аллеей, вдыхая свежесть сочной, весенней зелени. Мелкий гравий под ногами пел знакомую мелодию, каждое дерево смотрело на него знакомым, родным взглядом. Ветви кленов, бузины, акаций, шелестя шепотом листвы, кланялись ему, словно здоровались с ним. Все существо Брагина испытывало чувство, которое

обычно испытывают люди, вновь встретившиеся после долгой разлуки. Он шел бодрый, радостный и через несколько минут вошел в швейцарскую корпуса. «Дедушка крокодил», в серой коломнянковой ливрее, оторвавшись от Русского Инвалида, вскочил со стула и вытянулся по военному.

— Здравствуйте, дедушка! — смущенно сказал Брагин.

— Здравия желаю, ваше благородие! — прогремели в воздухе ответные слова швейцара, окончательно смутившие Брагина.

Через секунду по лицу швейцара скользнула добрая улыбка, и ласково глядя на Брагина, он улыбаясь сказал: — А вы, ваше благородие, добавьте слово «крокодил»... Дедушка крокодил!... Люблю, что так прозвали... уж больно метко... потому на вас, шустрых стрижей, одна управа — «ЗУБАСТЫЙ КРОКОДИЛ».

— Правильно, дедушка крокодил, — утвердительно ответил Брагин, пожимая жилистую руку швейцара.

— Вот смотрю на вас, а фамилию, простите, не помню... Да как за двадцать лет запомнишь всех... Только вижу по выправке, что нашего корпуса, да помню еще, что вместе с вами княжескую подкладку вырезали. Я еще тогда ножницы вам дал, за сукно боялся... Сукно дело казенное, не ровен час, порежете, а подкладка дело другое, почитай сам Великий Князь рад был, что подкладку-то вырезали, потому на вечную память о нем,

— закончил швейцар, всколыхнув в памяти Брагина прекрасную традицию корпуса.

— Брагин моя фамилия...

— Ну вот... ну, конечно, Брагин... Махонький вы тогда были, но шустрый... как ртуть... глазенки острые были, а уж тогда понимали, что значит традиция, — наставительно сказал «Дедушка Крокодил», возвращая Брагина к годам навсегда затонувшего детства.

Брагин направился в третью роту. Была перемена между первым и вторым уроком. Сотня детских голосов сразу оглушила его своим гамом, каким-то специфическим гортанным звуком. В огромном зале, в клубах поднятой пыли, в ту и другую сторону с визгом и шумом носились малыши кадеты, отдавая пятнадцатиминутной перемене избыток детской энергии.

Паркетный пол был изборожден полосами, как весной каток от коньков. В воздухе пахло мастикой и детским потом. Брагин с трудом пробрался к дежурному воспитателю, подполковнику Никольскому, по прозвищу «ЧЕРЕП». Никольский радостно встретил Брагина, сразу узнал его, и участливо расспрашивал о сражении, в котором он был ранен. Резкий звук трубы... Разбушевавшаяся мелюзга с взрывом последнего шума рассыпалась по классам. Вереницей потянулись знакомые и незнакомые преподаватели. Шествие замыкал отец дьякон.

— Здравствуйте, отец дьякон! — подходя сказал Брагин.

— Здравствуй, Жоржик!... Тоже ранен?

— Пустяки... царапина...

— Ну, дай посмотреть на тебя... Молодец...
Пойдем на урок... А помнишь кагор? — улыбаясь спросил отец дьякон, заглядывая в глаза Брагина.

Брагин и сейчас не выдал друга, а скользнувшая по его лицу виноватая улыбка еще раз как бы подтвердила его виновность. Они вошли в класс. Гул, сильно напоминающий жужжание роившегося пчельника, сразу стих, и сорок малышей по команде старшего кадета вытянулись в струнку. Отец дьякон принял рапорт, и детвора с легким шумом опустилась на парты. Брагин сел на свободное место в первом ряду. Перед наступающими экзаменами отец дьякон бегло повторял пройденный за год курс. Сегодняшний урок был посвящен христианской сущности и глубине двенадесятых праздников, и когда отец дьякон объяснял сущность праздника «Преображение Господне», он теплым взглядом окинул Брагина. Между ними ясно обрисовались контуры убитого князя Вачнадзе, назвавшего на экзамене, в присутствии епископа Гурия, праздник «ПРЕОБРАЖЕНИЯ» — «ПРИВЕДЕНИЕМ ГОСПОДНЕМ». Сладостные мысли прошлого властно охватили Брагина. Он чувствовал себя маленьким кадетом и жадно вдыхал аромат знакомого класса. Кончился урок. Брагин направился во вторую роту и у входных дверей в ротный зал столкнулся с командиром роты полковником Горизонтовым —

по кадетской кличке «КОНЬ», хотя конского в нем ничего не было. Это был человек с двумя ногами, руками, лицом, безукоризненно носивший форму корпуса. Полковник Горизонтов не мог не узнать Брагина, ибо в его памяти еще были свежие вольные бои на рапирах, когда Брагин, превзойдя своего учителя, шутя и яростно вонзал острое стальной рапиры в широкую конскую грудь, разгневанного и потерявшего контроль боя, преподавателя. Они вошли в ротный зал. Полковник Горизонтов, позвякивая шпорами, спокойно обошел фронт роты, делая замечания за неопрятный вид, плохо вычищенные пуговицы и бляхи поясов.

— Ведите роту, — приказал полковник Горизонтов, и после команды дежурного офицера рота строем двинулась в столовую. Рота пропела молитву, и кадеты опустились на скамейки. Брагин подошел к ближайшему столу.

— Можно мне с вами позавтракать? Я тоже симбирский кадет...

Кадеты встали со своих мест.

— Что вы... что вы, садитесь... Сегодня я хочу быть кадетом... таким же кадетом, как вы... я когда-то завтракал за этим столом, — закончил Брагин, опускаясь на скамейку и ласково обнимая плечи своих соседей.

Минутное замешательство охватило стол. Кадеты не знали, как им поступить; у Брагина не было прибора. Атмосферу замешательства разрядил эконом корпуса Дивногорский, сам принесший

Брагину тарелку с тремя пухлыми котлетами, как близнецы покоившимися на горе макарон. Все ели с аппетитом... Плотный, широкоплечий кадет с прыщавым лицом, с неповинуящимися, растущими куда-то вкось волосами, с нескрываемым вожделением смотрел на тарелку Брагина.

— Вот вам дали три котлеты, потому что вы офицер и ранены, — без тени какого-либо стеснения хрипло проговорил он.

— Я уступлю тебе одну... мне много, — ответил Брагин.

Он переложил на подставленную кадетом тарелку все макароны и котлету.

— С п а с и б о...

— Кострицын у нас первый обжора, — аттестовал кадета сосед Брагина.

— Он как-то на спор съел 10 котлет, — слышалось с другого конца стола.

— И не умер... Он по математике идет первым и за решение задачи берет котлету...

По адресу Кострицына со всех сторон стола неслись нелестные эпитеты, к которым он был безразлично равнодушен. Он с жадностью поедая второй завтрак, и когда барабан возвестил окончание завтрака, на его тарелке остались лишь желтые блики стекшего с макарон масла. Кадеты пропели молитву и строем направились в роту. Брагин, может быть, навсегда простился с своими юными друзьями, может быть, навсегда простился с котлетами, которые на всю жизнь останутся для него самыми вкусными, и не потому, что они

как-то особенно приготовлены, а потому что они — котлеты родного корпуса, снова вернувшие его к светлому невозвратимому детству. Остаток большой перемены Брагин провел в строевой роте, где он знал всех кадет, так как когда он окончил корпус, они были малышами 1-го и 2-го классов, а он был откомандирован в 3-ю роту в помощь дежурным воспитателям. Стройные, дисциплинированные, подтянутые кадеты тесным кольцом обступили Брагина. Здесь уже велись разговоры только о войне. Со всех сторон сыпались вопросы о том, как долго может продлиться война, успеют ли они кончить корпус, военное училище и попасть в действующую армию. С увлечением рассказывали о трех смельчаках, убежавших из корпуса на фронт. Брагин радостно впитывал в себя искренность юношеского порыва. Ему было трудно корректировать неправильность некоторых тонкостей отправления, нарушающих воинскую дисциплину, ибо он чувствовал, что будь он на месте окруживших его кадет, в его мозгу роились бы те же мысли, тем же огнем горели бы глаза, и уста произносили бы те же слова...

Горнист протрубил сбор... Кадеты разных классов, на перебой, приглашали Брагина в свой класс, но вспомнив приглашение полковника Гусева, он решил провести урок в первом отделении нестроевой роты — в 5-ом классе. Как и в его время четвертым уроком был урок истории, и лекции читал все тот же, немного постаревший, Василий Степанович Старосивильский — «вонюч-

ка». Эта кличка дана была ему только потому, что от него всегда пахло табаком. Он был страстный курильщик, и окладистая борода и усы около губ были с желтым, несмываемым налетом никотина. Василий Степанович читал курс русской истории в трех старших классах корпуса. Он любил свой предмет, идеально знал его и был необыкновенным мастером слова, благодаря чему различные эпизоды и целые эпохи дышали колоритной выпуклостью, а участвующие в них лица, давно ушедшие в лучший мир, казались живыми. Если не считать Мальсаговых, кадеты любили его лекции. Как и отец дьякон, Василий Степанович бегло повторял пройденный за год курс и сегодняшнюю лекцию посвятил «Смутному времени на Руси». Как большой художник, он смелыми, яркими мазками рисовал перед классом картину русской смуты начала 17-го столетия, когда на нивах внутренних раздоров, безначалия, измены, пышными цветами беззакония и разбоя цвела власть польского короля Сигизмунда, зазнавшихся панов Гонсевских, Жолкевских, Ходкевичей, тушинского вора, изменников бояр Истома Туренина, Кручины Шалонского... В мрачной картине неотвратимой гибели Руси, тут и там, как яркие звезды среди мрака ночи, загорались имена честных русских патриотов: князя Черкасского, Петра Мансурова, Барай Мурза Кутумова, Григория Образцова, князя Трубецкого, архимандрита Феодосия, отца Авраама Палицына...

Лучами непоколебимой воли и любви к оте-

честву засияли князь Дмитрий Михайлович Пожарский и мясник Козьма Минин Сухоруков...

. «Граждане нижегородцы!!!
Кто из вас не ведает всех бедствий царства Русского? Мы видим его гибель и разорение... Доколе злодеям и супостатам наполнять землю русскую кровью наших братьев? Доколе православные будут стонать под позорным ярмом иноверцев? Покинем ли в руках иноверцев сиротствующую Москву? Неужели, умирая за веру христианскую и желая стяжать нетленное достояние в небесах, мы пожалеем достояния земного?... Нет, православные! Отдадим все золото и серебро для содержания людей ратных, а если мало сего, продадим все имущество, заложим жен и детей наших».

Старосивильский с искренним подъемом последовательно нарисовал картины героической борьбы необученных ратному делу нижегородцев, изгнания с Русской земли иноземцев, и закончил лекцию датой 11-го июля 1613 года, когда русский народ на коленях бил челом боярину Михаилу Федоровичу, когда смиренный, юный Царь возложил на свою главу венец Мономахов и начал династию Романовых.

Ни затаившие дыхание юные слушатели, ни Брагин, ни сам лектор не предполагали, что Россия стоит у зияющей пропасти новой, более ужасной и позорной русской смуты.

РАЗРЫВ

Брагин вынул из чемодана привезенную для Маши коробку конфет от Трамблэ. Он задумался... Странная вещь жизнь... Идешь говорить кислые слова, и как будто хочешь подсластить их горечь конфетами. Не честно... Он умышленно шел медленно, как бы стараясь оттянуть момент тяжелой для обоих встречи. Миновав здание корпуса, он свернул на Гончаровскую улицу. Вдали показалось знакомое серое здание почтово-телеграфной конторы. С душевным трепетом он взглянул на ряд окон, кровавым огнем горевших в предзакатных лучах солнца. Те же кремовые занавески, те же цветы, только мысли другие, подумал он, и медленно стал подниматься по лестнице. Несколько секунд он простоял в раздумии. Отяжелевшая рука не подымалась к звонку. На сердце было смутно... позвонил... За дверью слышались торопливые женские шаги... В открытой двери показалась Маша.

— Жоржик! — радостно воскликнула она, но через секунду порыв первой радости погас, слов-

но она коснулась чего-то чужого, запрещенного и, едва дотронувшись до черной косынки Брагина, она участливо спросила: — «Больно?».

— Пустяки, Маша... Скоро обратно...

— Идемте сюда, — уже спокойно сказала Маша.

Они вошли в гостиную. Маша села в кресло, опустила голову, но это было мгновение каких-то, только своих, мыслей. Она подняла голову и, глядя в глаза Брагина, спокойно сказала: — Садитесь, Жорж... Спасибо за конфеты...

Брагин приложил к губам похолодевшую руку Маши и опустился в соседнее кресло.

— Ну, а теперь рассказывайте, рассказывайте все... Мы так давно не виделись, и вы были так не многословны в своих редких письмах.

— Простите, Маша, я считал, что так будет лучше...

Секунды неловкого молчания казались томительно длинными. Маша первая нарушила тишину.

— Ну рассказывайте, как это случилось?

Вообще, как-то совершенно неожиданно... Во время атаки... Мы вот-вот должны были схватиться в рукопашную... Немецкий офицер ранил меня... Мои солдаты подняли его на штыки...

— Было больно?

— Немецкому офицеру?

— Как вам не стыдно...

— Простите, Маша... не сердитесь... не помню... не особенно больно...

— А страшно идти в атаку?

Брагин не успел собраться с мыслями, как в гостиную вошли старики Гедвилло. Они тепло, как родного, встретили его и сразу пригласили к столу.

— А где Валя? — на ходу спросил Машу Брагин.

— Она на фронте... в передвижном госпитале. Я тоже скоро собираюсь...

— «А р т е м ы», — подумал Брагин.

Сели за стол. Маша перенесла свой прибор и села рядом с Брагиным.

— Я буду кормить вас, ведь у вас временно одна рука, участливо сказала она.

Ужин проходил в теплых расспросах хозяев о войне, о причинах неудач на фронте, о том, где и при каких обстоятельствах он был ранен. Уступив настойчивым просьбам, Брагин рассказал про знаменитые бои за Августовские леса, где 3-ий Сибирский корпус, ценою колоссальных потерь, полностью ликвидировал прорыв Самсоновской армии и, поддержанный армией генерала Эверт и 1-ой кавалерийской дивизией генерала Гурко, разгромил немцев и принудил их отступить до Мазурских озер. Маша, сидя рядом с Брагиным, ловила каждое его слово, глядела в его обветренное лицо, в глаза, в полуоткрывающийся рот...

После ужина Маша и Брагин вошли в полумрак гостиной, освещенной мягким светом боль-

шой настольной лампы, стоявшей у рояля. Блестящий свет спокойно струился сквозь шифоновые складки абажура, освещая клавиатуру рояля, и сверху бросая причудливые блики на шлифованную поверхность крышки.

— Маша, я хочу говорить с вами, — заметно волнуясь сказал Брагин.

— Конечно, Жорж... Мы так давно не говорили... И мне кажется, так изменились... Словно придя к какому-то решению, она задержалась у рояля, подняла на Брагина грустные глаза и чуть слышно спросила: — Вот здесь... Хорошо? Я буду тихонько играть, а вы говорите... Я все услышу...

Не дожидаясь согласия Брагина, она как-то безжизненно опустилась на круглый стул... Белая батистовая кофточка резко подчеркивала бледность ее лица. Холеные руки, сквозь кожу которых просвечивала мелкая сетка синих жилок, опустились на холодные клавиши. В печали глаз, в больной улыбке, скользнувшей по губам Маши, Брагин понял всю жестокость правды, через несколько минут ожидающую ее. Он закрыл глаза и здоровой рукой нервно потирал обветренный и загорелый лоб, словно старался вспомнить, привести в порядок, смягчить оставшиеся его мысли и слова. Перед закрытыми глазами мелькнуло лицо мамы, мелькнули добрые глаза, в ушах далеким шумом слышались ее слова. Он напрягал последнюю волю, чтобы разжать стиснутые зубы, когда до его слуха, как шелест

падающих, отживших листьев, коснулись первые аккорды осенней песни Чайковского. Он открыл глаза, перевел взор на Машу. Она играла с закрытыми глазами. Опущенные большими ресницами веки конвульсивно вздрагивали, словно отгоняли подступающие слезы, слезы отвергнутой любви, чистой и ароматной, как цвет апрельской яблони... Яблони... под которой Маша впервые полюбила... В гармонии то возрастающих, то умирающих до предельного пианиссимо звуков, слышалась песнь не увядающей осени, а увядающей жизни...

Волна безотчетной жалости к Маше охватила все существо Брагина, коснулась сердца, разлилась по крови, завладела мозгом. В мыслях мелькали еще свежие моменты любви, мук, ревности, сомнений, моменты взлетов и моменты падений... В далекой, ясной перспективе, на фоне голубого неба, мелькнуло колосющееся золотом поле ржи и где-то далеко, далеко, как неземное видение, обрисовался чуть заметный силуэт Маши. Она прекрасная, счастливая, чистая идет к нему, к Брагину с охапкой горящих синим огнем полевых васильков... Они целуют ее полуоткрытые губы, горящие счастьем глаза, ласкают трепетную грудь, и нежным касанием плетут над головой венец...

— Жорж!.. Жорж!.. Я нашла цветы нашего счастья, — слышит Брагин умирающие в шелесте ржи слова Маши. Он бежит к ней... Вот она, трепетная, прекрасная, цельная... совсем

близко... Он чувствует на своем лице ее теплое, учащенное дыхание, жадно вдыхает аромат ее молодого тела, склоняется к ней и слышит диссонанс оборвавшегося аккорда и слова Маши: — Что же вы молчите, Жорж?... — Я слушаю вас...

Мрачные, властные первые три звука 1-го прелюда Рахманинова прорезали тишину комнаты... дальнейшие насыщенные неутешной печалью, аккорды охладили порыв Брагина. Куда-то исчезло, словно растворилось в прозрачном воздухе: золото ржи... полевые васильки... Маша...

. . . — Путь жизни, Маша, представляется мне в виде широкой дороги, окаймляющей весь мир... По этой дороге днем и ночью в ту и другую сторону нескончаемой вереницей идут люди: молодые и старые, красивые и уроды, богатые и нищие, порядочные и порочные... Они идут, как слепые, с протянутыми руками, каждый желая найти, сорвать цветок своего счастья... счастья своей жизни... Он остановился, мысли пугались, куда-то уходили слова... Волна жалости к Маше снова захлестнула его, и только мрачные аккорды властно призывали сказать слова неизбежного.

— Счастье двух людей, Маша, — это вечная Пасха... Светлая, ясная, чистая Пасха, когда тончайшие флюиды двух душ сливаются в одно целое и в своем слиянии рожают гармонию прекрасных звуков: семьи, любви, правды, уважения и прощения.

Маша на мгновение бросила восторженный взгляд на Брагина. За пять лет ожиданий она в своем сердце пережила все его мысли... они ей так близки, так знакомы...

— За пять лет я познал жизнь Маша, познал ее изнанку, и я боюсь, что не сумею дать вам этой Пасхи... Я был искренен, Маша, когда смело строил красивые планы нашей будущей жизни, но это были чистые дерзания юноши, не знавшего жизни... Желание любить я принимал за любовь, желание быть счастливым я принимал за счастье... Вы заслуживаете лучшего... Поймите меня и простите, — чуть слышно закончил Брагин, боясь взглянуть в лицо Маши. Он тяжело дышал... низко опустил голову. В будущей, нарастающей волне аккордов второй части прелюда до слуха Брагина долетело слово Маши — «У х о д и т е».

Первый момент Брагин от волнения не совсем осознал ответ Маши. Он ждал, что Маша что-то возразит ему. Он желал этих возражений, он ждал их, видел в них единственную возможность перехода к той форме их отношений, в которой он не терял ее, как друга.

— У х о д и т е, — не подымая головы, повелительно повторила Маша.

Брагин молча направился в переднюю. С тяжелым чувством, опустошенный, разбитый, он спускался по хорошо знакомой ему лестнице. Волны звуков безысходной, умирающей мелодии становились все глуше и глуше, но как только он

вышел на улицу, через открытую дверь балкона в его мозг снова ударили насыщенные мраком безысходности заключительные аккорды прелюда. Он старался уйти от них, но они снова догоняли его. Он прибавил шагу и неожиданно столкнулся с преподавателем Александром Александровичем Мирандовым.

— Здравствуйте, Брагин... Я слышал, что вы ранены, приехали... Подождите... подождите... Какая музыка... Слышите?... Прелюд Рахманинова... сколько неутешных слез... горя... безнадёжности... мрака...

— Простите, Александр Александрович, я तोплюсь, — неучтиво проговорил Брагин и быстро стал удаляться от недоумевающего и восхищенного музыкой преподавателя. Он шел быстро и скоро свернул в темноту безлюдной Дворцовой улицы. Путались мысли, и с каждым шагом им все больше и больше овладевало чувство жалости к Маше. Чей-то невидимый голос настойчиво твердил — «вернись». Из ярко освещенного губернаторского дома послышались звуки рояля и, словно испугавшись их, Брагин круто повернул и направился на Венец. В саду было безлюдно... темно... ночь и деревья... Брагин опустил на скамейку. Внизу шелестом молодых листьев тихо шептались яблони. Брагин напряженно вслушивался в их говор и силился вспомнить имя сторожа, сравнившего Машу с яблоней...

— Димитрий?... нет...

— Дорофей?... нет...

— Давыд? .. нет...

Он поднял голову. Редкие заволжские огоньки яркими звездами земли смотрели на него.

— М и х е и ч ! — вслух сказал он.

— М и х е и ч ! — повторили яблони.

Смутная безотчетная радость охватила Брагина, теплом разлилась по всему телу... на душе стало ясно...

«Завтра к Михеичу», — подумал он. К хорошему, чистому Михеичу... Он любит Волгу... все знает... поймет его... успокоит...

ПОЧЕМУ?

Брагин провел длинную скверную ночь. Моментами казалось, что мрак ее останется на всю долгую жизнь и никогда не рассеется. Часы утомительной бессонницы рождали: хоровод мыслей, воспоминаний, угрызений совести и чувство какой-то смутной неправоты и виновности перед Машей. Он комкал подушку, ворочался с одного бока на другой и возненавидел большие стенные часы, бесстрастно отбивающие секунды и хриплым боем возвещающие ушедшие навсегда полчаса и часы жизни. Он томительно ждал рассвета, нового дня, долженствующего поглотить мрак ночи, указать путь, кому отдать тяжесть своих сомнений, и позже, когда чуть заалел восток, в серо-синих тенях комнаты все чаще и чаще вставали образы мамы и Михеича. Он написал маме длинное письмо, спрашивал, как поступить дальше, и с каждой строчкой как бы освобождался от охватившей его душу тяжести.

«Поеду к Михеичу», — подумал Брагин. С ним так легко и просто. Он все знает... он поймет.

Вспомнив давнишние слова Зимина, что Михеич днем спит, а ночью ловит рыбу, он промучился день и в 5 часов вечера вышел из дома искать у Михеича правду жизни. На Дворцовой, где была лучшая биржа извозчиков, где парные с пристяжной экипажи горели блеском начищенного лака, он остановился. Брагин решил ехать в Поливну на извозчике, а там на рыбацкой лодке переправиться к Михеичу. Возницы плотным кольцом обступили его, каждый предлагая свои услуги.

— А вы, ваше сиятельство, доверьтесь Леонтию... Кто в Симбирске не знает Леонтия Кочнева? Эх, и прокачу на резвых, — с веселой улыбкой закончил упитанный возница в чистой голубой рубаше, поверх которой был одет темно-синего бархата казакин без рукавов.

— Да у него лошади опоенные, господин офицер... право слово, опоенные, — с пьяным задором выкрикнул щуплый извозчик с испитым лицом и огромным сизым носом.

— Чего брешешь... Сам ты опоенный, — зло огрызнулся Леонтий, подскочив к своему экипажу, запряженному парой рослых, рыжих коней.

— Хорошо, Леонтий... В Поливну, там подождать час, полтора и обратно...

— Не извольте стесняться, доставим по первому разряду, — радостно ответил Леонтий, легко вспрыгнув на козлы. Истомленные солнцем, лошади встрепенулись, наострили уши. Брагин опустил в нагретый солнцем экипаж, мягко загремевший резиновыми шинами по булыжникам

Дворцовой улицы. Через квартал лошади почувствовали асфальт главной улицы. Леонтий строже натянул вожжи, коренник задрал голову, расправил бока и вложился в размашистую рысь. Обдало запахом конского пота. Равномерное цоканье подков все учащалось, пристяжная неохотно перешла на галоп.

— Лошадь, прекрати! — послышался резкий окрик Леонтия и экипаж на полном ходу пронесся мимо неожиданно вывернувшегося из-за угла извозчика, на исхудалой и измученной, как он сам, лошади. Брагин улыбнулся. Ему понравился окрик Леонтия — «лошадь, прекрати».

Брагин с любопытством разглядывал мелькающие знакомые дома, зеленые пролеты поперечных улиц, за семь лет так много раз исхоженных. Все дышало чем-то близким, родным и рождало в мыслях отжившую свою прелесть, цепь воспоминаний. Промелькнули убогие постройки пригорода, и экипаж, оставляя позади клубы пыли, побежал по мягкой дороге между огородов. Они горели различными оттенками зелени, развертывая перед глазами замысловатый ковер. Кони легко вынесли экипаж на пологий бугор и, спугнув стаю перепелок, резко понеслись по зеленому морю озимых пашень, за которыми заманчивой прохладой чернел мелкий березняк Поливны. Через полчаса экипаж утонул в сочной зелени березы, клена, ольхи и ленивого молодого дубка. Взмыленные кони фыркали раздутыми ноздрями. Оставив Леонтия, Брагин направился к крутой уступ-

чатой тропинке, спускающейся к Волге. Местами тропинка суживалась, и деревья плели зеленую арку, сквозь листву которой сверху голубело небо, а снизу серебрились спокойные воды Волги. Вечер был безветренный... В лесу стояла дремлющая тишина... Брагин упивался торжественным покоем леса, а трепетные мысли неслись за Волгу, к Михеичу. Он плотно прижал к себе банку с трубочным табаком, которую вез ему, и ясно представил его себе жилистого, седого, с путаной бородой, с кривой ногой, с бесхитростными, ясными как у детей, глазами. На берегу он нанял рыбацью лодку. Рыбак в синей рубахе, в серогрязных портах, сдвинул в воду небольшую вертлявую лодку, загорелой рукой обтер корму и сел на весла.

— Пожалуйте, барин, — хриплым голосом сказал он. Лодка быстро стала удаляться от берега.

— А что, барин, скоро войне конец? — спросил рыбак.

— Когда победим, тогда и конец, — неохотно ответил Брагин, не отрывая взора от противоположного берега, где в прибрежной зелени неясными контурами чернела сторожка Михеича.

— А то не победим... Герман хоть и умен, да ум-то у него дурак... На кого сунулся?... Да вся его Германия почитай одна наша Симбирская губерния без Ардатовского уезда... А по мне надавить на него всей силушкой, ну и войне конец... Солдатики по домам распустить, а то на по-

лях одни бабы работают... Ну куда им управиться, одно слово дырявая команда...

Брагин не хотел отвечать не в меру разговорчивому лодочнику. Мыслями его полностью овладел Михеич, такой честный, такой русский. Вон он ходит по берегу... Ну да, конечно, он... прихрамывает... нагнулся... Наверно сеть промывает... Улыбка радости непроизвольно скользнула по губам Брагина.

. Лодка врезалась в мокрый песок. Брагин выпрыгнул на влажный песок отмели.

— Никита, здравствуй! — радостно воскликнул Брагин.

Никита, лениво снимая помятый картуз, с удивлением смотрел на незнакомого офицера.

— Не узнаешь?.. Ну, конечно, я тогда был маленьким, мне было всего 13 лет... А где Михеич?

— Михеич помер, — безразлично ответил Никита.

— Как умер?

— Год как помер... Подле Волги заказал схоронить... вон и могила...

Ошеломленный известием Никиты, Брагин машинально, утопая в сыпучем песке, двинулся вперед. Никита и лодочник потянулись за ним.

«Почему Михеич?» — подумал Брагин.

Скоро вправо от сторожки он заметил маленький бугорок, густо заросший травой. Посеребренный от ветров и дождей самодельный крест, очевидно сделанный Никитой, наклонился к серебряным

листьям ивняка и казался кривым, как нога Михеича. Брагин грустно взглянул на крест и в мыслях снова встал вопрос — «почему Михеич?».

Из соседнего села попутным ветром донесся, словно молитва, тихий благовест. Звонят к вечерне, подумал Брагин и снял фуражку. Его примеру застенчиво последовал Никита и безразлично старик лодочник. Впервые в жизни до сознания Брагина дошло, что во всем огромном мире все мы какие-то странные пришельцы. По чьей-то воле мы входим в жизнь и по чьей-то оставляем ее. Проснувшись утром здоровыми, радостными, счастливыми мы можем не дожить до вечера, и никто не знает, когда наступит время его ухода... Жестокий, несправедливый закон вселенной, думал Брагин. Но почему ворон живет 200 лет?... попугай 400?... Почему Коля Будин ушел 13-и летним ребенком?... Почему Михеич?... Хороший честный Михеич...

На крест опустилась красногрудая птица с синими крыльями и хвостом и весело защебетала, словно говорила: «Здесь покоится раб Божий Михей»...

— Чайку откусаете? — послышался сзади робкий голос Никиты.

— Нет, спасибо, — очнувшись от тяжелых мыслей ответил Брагин. Он перекрестился, опустился на колени и молча склонил голову... Никита не сразу понял, что это молчаливый долг его отцу — волжскому рыбаку. Он топтался бо-
сыми ногами по песку, недоумевающе взгляды-

вал на лодочника, как бы спрашивая его, что ему делать, и наконец неуклюже встал на колени. Жылистый лодочник молчаливо последовал его примеру.

— «Здесь покоится раб Божий Михей», — в последний раз прощebetала птица и в быстром полете скрылась в прибрежном ивняке...

. — Ну, мне пора, — глухо сказал Брагин и, ощутив в руке банку табака, спросил:

— Ты куришь, Никита?

— Тяткиной трубкой балуюсь, — застенчиво ответил Никита, поправляя свои непокорные белесые волосы.

— Вот, возьми себе... Прощай, Никита, не знаю, свидимся ли еще когда-нибудь, — сказал Брагин, направляясь к лодке.

— Покорно благодарим за гостинец... А вы приезжайте стерляжей ухи отведать... теперь я варю...

Никита бережно, как архиерея, поддержал Брагина под руку, когда он садился в лодку, сам оттолкнул ее от берега и долгим взором провожал ее. С тяжелыми мыслями, с опустошенной душой оставил Брагин берег Михеича. Закон неизбежности представился ему еще более отвратительным, жестоким и не справедливым.

— А как же мама?... Значит она, как Михеич, тоже уйдет?... Нет... нет... Моя чудная мама... Он закрыл глаза... Ясно представилось ее доброе лицо... На него смотрели ласковые глаза, в которых отражалась любовь к каждому волос-

ку, складочке, морщинке на его теле, в которых растворялась его печаль, горе, боль, сомнения... Безотчетный страх за маму охватил его. Он весь съежился, стал маленьким. Он ощутил ее скорбные глаза при расставании с ним. Он твердо решил сегодня же вернуться в Москву. Старик лодочник греб молча. Рыбацкой душой он прочел мысли Брагина.

В 11.20 ночи Брагин скорым отбыл в Москву.

МАМА

— Мама, Михеич умер... Михеич умер, — торопливо повторял Брагин, обнимая худенькое тело мамы и целуя ее седые волосы. Мама радостно-покорная стояла в объятиях сына, и в каждом поцелуе сердцем матери угадывала волнующие его мысли, тревогу и безотчетный страх за нее. Она гладила его лицо, глаза, шею, волосы, снова прижимала к себе, целовала, и слезки счастья мелкими алмазами скатывались по ее худым щекам. Брагин увлек маму в кабинет, усадил на диван и утопил голову у нее на коленях.

— Мама, ты здорова?.. Я так боялся за тебя, боялся, что... не знаю почему, но мне показалось... Но почему ты плачешь?

— Я счастлива, Жоржик... Иногда плачут от счастья, от неожиданной, или долгожданной ласки... от... Я все поняла... В тебе я сейчас чувствую всех детей: Марусю, Борю, Женю, Галю, Таню, Наташу... Их нет со мной, но через тебя, твою ласку, они все со мной... Это слезы большого счастья, когда мать чувствует своих детей, чувст-

вует их маленькими, теплыми, ласковыми... Ну, а теперь рассказывай, видишь, я совсем успокоилась... Эти шесть дней тянулись так долго. Бедный Михеич...

Брагин привлек к себе маму, она обняла сына за голову и, притихшая, слушала его долгий рассказ про корпус, где он снова почувствовал себя кадетом, про встречу и разрыв с Машей, про Михеича, осиротелого Никиту, про его тревоги за нее. Они еще долго сидели прижавшись друг к другу, каждый с своими мыслями, боясь словами спугнуть нежность и безгранность счастья сына и матери.

Движимый каким-то смутным предчувствием, от которого он старался, но не мог, освободиться, он все время чувствовал какую-то прежнюю неправоту в отношении мамы. В мыслях все время воскресали все новые и новые случаи недостаточного внимания, уважения, заботы о маме и, как бы стараясь загладить несознательные ошибки прошлого, он сейчас отдавал ей все время, всю ласку, заботу. Он был охвачен какой-то неудержимой, ненасытной болезнью близости матери, близости, которую он испытывал только в детстве. Огромный мир, раньше занимавший его мысли, ушел куда-то далеко, далеко, где царит вечный туман, сырой, промозглый туман жизни, а солнце: яркое, теплое, ласковое солнце, согревающее душу, тело, мысли, жизнь — это мама.

По утрам, когда мама еще спала, он бежал к Филиппову, или в модную кондитерскую Гарри,

и приносил к утреннему кофе горячие московские калачи с хрустящей мучной корочкой, или сдобную слойку, которую мама очень любила. Он возил маму завтракать в Прагу, в Славянский Базар, к Тестову. На обратном пути, вместе с ней, заезжал к Трамблэ за марципанами или к Абрикосову за шоколадом. Вечерами, чтобы маме не было скучно, водил ее в театры: Художественный, Коршевский, оперетту Зона, в цирк Никитина, в Аквариум... Как-то обманным путем, под видом катания в Петровском парке, привез ее на рысистый ипподром и выиграл на ее счастье на Телегинской «Мисс Мак Керон» — 81 рубль 50 копеек. Мама цвела цветами счастья. Она ласково журила сына за неразумную трату денег, и радостно принимала каждое новое его баловство. Она знала, что с отъездом сына на фронт цветы счастья завянут и цветы беспокойства, тревоги, разлуки твжестью наполнят ее сердце.

Особенно близко Брагин чувствовал маму каждый день после обеда, когда мама любила немного отдохнуть. Она ложилась на диван, клала голову на его колени, а он тихо гладил маму по волосам, словно успокаивал ее усталые мысли, воскрешал в ее памяти истлевшие моменты прожитой жизни. Мама не спала. Она лежала с закрытыми глазами и чуть слышно рассказывала сыну сказку его жизни.

... — А помнишь, Жоржик, ты был тогда совсем маленьким, игрушечным кадетиком... первый раз приехал на каникулы... в Саратов... Помнишь,

я так же лежала у тебя на коленях... Ты запустил свои маленькие ручки в мои волосы и все считал седые... ошибался, снова считал и насчитал 74 седых волоска...

П о м н и ш ь ? .. Я смеялась тогда... говорила, что ты не умеешь считать... Ты сердился, говорил что у тебя по арифметике 12 баллов и снова считал... Помнишь, я позволила тебе вырывать седые волосы? .. Потом мы пошли к большому зеркалу, и ты причесывал меня... Я смотрела в зеркало и хохотала, так неумело ты причесывал... а потом задумалась...

«Мама почему ты задумалась? — спросил ты. Я не ответила тебе, а прижала тебя к себе и целовала... долго целовала... Помнишь? .. А теперь отвечу. Мне хотелось тогда, чтобы жизнь остановилась, чтобы у меня навсегда остались 74 седых волоска, и чтобы ты навсегда остался маленьким кадетиком, теплым, ласковым, хорошим... Ты остался, а я стала седой старухой...

— Мама, ты красавица... седая красавица, — тихо сказал Брагин и утопил свое лицо в серебряные ее волос. Серебряные нити целовали его разгоряченное лицо, словно хотели передать ему седую мудрость жизни. Мама тихо плакала...

Через месяц Брагин уезжал на фронт. Александровский вокзал... Перрон... Третий звонок... свисток главного... свисток паровоза...

Мама перекрестила сына, крепко прижала к себе... Не было слез. Они остались на влажной по-

душке ушедшей ночи. Долг перед Родиной высушил их. Тронулся поезд... Брагин вскочил на подножку вагона. Серебряная красавица торопливо шла за вагоном словно хотела остановить поезд... остановить жизнь... Вверх взметнулся белый платочек... пропал... опять показался... исчез... белеет... всю жизнь белеет... Брагин больше никогда в жизни не увидел своей серебряной красавицы.

ПОДВИГ

Настоящая глава отражающая только героический факт спасения родного знамени написана по тем скудным данным, которые удалось получить от Игуменнии Эмилии — в миру Евгении Викторовны Овтрахт, передавшей доверенное ей знамя, штабу Кавказской Армии в г. Царицын и бывшего Симбирского кадета Сергея Иртэль — ныне иеромонаха Сергия, проживающего на Аляске.

По просторам России дул ветер революции. Из бушующей революционными страстями столицы временного правительства он нес по русским просторам дыхание лжи, обмана, насилия и миллионы противоречащих друг другу декретов с громким революционным подзаголовком — ВСЕМ !!! ВСЕМ !!! ВСЕМ !!!

С таким же преступным подзаголовком родился в жизнь приказ Временного Правительства по Армии и Флоту № 1, росчерком пера уничтоживший армию, флот и честь России и отдавший Родину в рабство большевикам.

Революционные власти на местах, заваленные декретами центра, не успевали проводить их в жизнь, отменять, издавать новые и жили, как и само правительство, удачно названное временным, сумбурными формами жизни, чего-то и кого-то ожидая.

Администрация сумела сохранить в корпусе дореволюционный порядок и дисциплину, и в 1917 году учебный год, как обычно, начался 15-го августа, с той лишь разницей, что небольшая часть кадет, преимущественно младших классов, в корпус не вернулась, а была задержана родителями дома. Ходили упорные слухи, что скоро все корпуса будут переименованы в военные гимназии с сохранением той же формы, но без погона. Кадеты строевой и 2-й роты заметно нервничали. Горячие головы решили бороться за погон.

Быстро развивающимися событиями нормальная жизнь корпуса была нарушена. Некоторые преподаватели, увлеченные заманчивыми, многообещающими революционными лозунгами, перестали посещать корпус. Материальные затруднения вынудили администрацию корпуса до минимума сократить питание кадет и перейти на хозяйственный способ закупки продуктов на вольном рынке, так как разграбленное интендантство не могло удовлетворять требований корпуса.

Черные дни корпуса начались с момента октябрьской революции. Прибывшая из столицы новая, более наглая власть, недавняя свидетельница героических подвигов кадет Петербургских и

Московских корпусов, не пожелавших без боя отдать своей чести, круто взяла курс и постановила немедленно разогнать корпус, как очаг контрреволюции.

На этот раз невинные дети были спасены, так как все внимание революционной власти было сосредоточено на ликвидации мелких восстаний, плотным кольцом охвативших Симбирск, и вылившихся в последствии в белое движение полковника В. О. Каппель. В 1918 году Симбирский Кадетский Корпус вступил в последний год своей жизни.

Два друга, Володя и Сережа, кадеты выпускного класса, уже давно ходили в отпуск в хорошую, патриархальную семью Мельниковых. Добрые, сердечные и бездетные Мельниковы за 5 лет полюбили их, и дети платили им тем же. Как-то вечером Мельниковы познакомили их с сестрой милосердия, Евгенией Викторовной Свирчевской-Овтрахт, только что приехавшей из Петрограда. Евгения Викторовна, как это часто бывает, с первого взгляда полюбила своих новых друзей, в шутку называла их «мои близнецы», хотя общего у них было: рост, сложение, мундир и фуражка. Володя был брюнет с карими, порою смеющимися порою непокорными глазами, Сережа — блондин с грустными, цвета небесной лазури, глазами. Володя был олицетворением воли и риска, Сережа — честный и четкий исполнитель чужой воли.

Невидимые нити дружбы быстро связали новых друзей. В отпускные дни, после ужина, каде-

ты обычно уходили в комнату Евгении Викторовны и любили слушать ее рассказы об ужасах октябрьской революции, об юнкерах и кадетях, мученически погибших в неравном бою за честь Родины и свои знамена. Рассказы Евгении Викторовны сделались какой-то необходимостью каждого отпуска и пробуждали в душах Володи и Сережи подсознательное тяготение к подвигу. Как то вернувшись из отпуска, они дольше обычного задержались в полутемном портретном зале, обсуждая сегодняшний рассказ Евгении Викторовны о героической защите юнкерами Павловского Военного Училища. Друзья остановились у молчаливого бюста Александра 2-го. Царственный бюст холодными глазами бронзы следил за ними, а с большого портрета подсвеченного огнем контрольной лампы на них смотрели кроткие, добрые глаза Государя.

— Сережа, давай сегодня ночью, когда все уснут, проберемся в церковь, срежем знамя и убежим из корпуса, — с горящими нервным блеском глазами шопотом сказал Володя.

— Но как же? — нерешительно возразил Сережа.

— Т р у с !

— Не смей оскорблять меня... Я готов хоть сейчас умереть за наше знамя... А если нас поймут?.. Будут глумиться над нашим знаменем... Кража знамени все равно откроется... а ты подумал, кому мы передадим его... Это должен быть надежный человек...

Тяжелое молчание друга было ответом на разумные и честные слова Сережи.

— Евгении Викторовне, — радостно воскликнул Володя.

— Правильно, она спасет...

— Только ты никому не говори ни слова... Это тайна... Завтра я спрошу ее.

Три дня друзья тщательно обдумывали возможные планы проникновения в церковь, где хранились знамена Симбирского и Полоцкого корпусов. Корпус облетела тревожная весть, что власти отбирают знамена у полков Симбирского гарнизона. Эта весть взволновала 7-ой класс, и вопрос спасения знамени принял форму остроты и неотложности. Шопотом обсуждались всевозможные планы, и в конце концов все единогласно остановились на плане двух друзей передачи знамени лицу, которого никто не знает. Эта тайна передачи знамени и являлась залогом дальнейшего спасения знамени. Ночью, при помощи всего класса, расставленного махальщиками во всех угрожающих пунктах, Володя и Сережа проникли в церковь, срезали знамена с древков, одели на осиротелые древки чехлы и, как было решено, закопали знамена в левом углу плаца под большой липой. Молчаливая свидетельница подвига радостно шелестела листьями, когда друзья, трясущимися от волнения руками закапывали святыню глубоко под ее корни...

На другой день, когда наступили поздние сумерки, Володя осторожно постучал в знакомое ок-

но. Через секунду друзья вошли в комнату Евгении Викторовны. Не было слов, они были лишни... Глаза искрились жертвенным порывом, сердце билось большой, чистой верой в Бога. Друзья перекрестились, поцеловали знамена, передали их в руки Евгении Викторовны и молча вышли на улицу... Сизые сумерки обняли их со всех сторон, черными, не живыми окнами издалека смотрел на них родной корпус, а на душе было ясно и светло как на Пасху.

Через три дня прибывший в корпус комиссар с представителями красной армии обнаружил кражу знамен. Гневу его не было предела. С налившимися кровью глазами, с озверелой мордой он оглашал церковь раскатами площадной брани...

— У скоты, царские прихвостни... всех перестреляю... В красную армию всех пошлю служить, ежели не сознаются виновные, — яростно гремел он перед фронтом построенной по его приказу строевой роты.

Володя и Сережа вышли два шага вперед. Они были арестованы и преданы суду военного трибунала. Воспитанники чести сознались на суде, что срезали знамена по своему личному почину и категорически отказались указать где знамена и кому они их передали. Их отважно защищал присяжный поверенный Малиновский, и за эту защиту был судим и приговорен к расстрелу. Волна тщательных обысков корпуса, квартиры Мельниковых и других мест, где бывали арестованные, результатов не дала.

Остается неизвестным, как и при каких обстоятельствах Володе и Сереже удалось бежать из тюрьмы. Они долго скрывались в Симбирске, очевидно имея хорошо законспирированную связь с несколькими кадетами, но когда власти напали на их след, они теплой дождливой ночью покинули город. Перед ними расстилалась широкая русская дорога. По ней свободно идет каждый русский... это дорога Родины... Не было страха, он остался где то далеко позади... Были мысли, рождавшие образы... Вон, строем спускаются к Волге черные ряды кадет, вон мелькнул Петров, Сытин, Иртэль... Они идут по русской дороге... они поедут по русской Волге... Но почему не играет оркестр? Почему у всех такие озабоченные лица? Как будто они уходят навсегда... Вон мелькнул, «Дедушка Крокодил»... Он в черном корпусном мундире... грудь в медалях... Но почему он такой старенький?.. Согнулся, тяжело дышит, едва идет, словно идет умирать, упал... Над ним согнулся старший фельдшер корпуса... Он испуганно озирается по сторонам, как будто кого то боится...

— Не бойся !!!... Ты русский !!! Это твоя дорога... дорога твоей Родины, — слышится голос Евгении Викторовны. Она вся в белом, ясная, чистая, лучистая смело идет с развевающимися знаменами и образом Нерукотворенного Спаса озаряет русскую дорогу... Но что это? Почему вдруг темно?.. Откуда взялись эти звериные рожи с оскаленными зубами, с ядовитой пеной в углах рта?

Откуда взялись эти красные тряпки, несущие дыхание крови? ..

— Уйдите прочь! — издалека слышится голос Евгении Викторовны.

— Уй д и т е п р о ч ь ! .. У вас нет Родины ... нет Бога ... нет чести ...

Володя и Сережа шли молча ... Куда шли? .. зачем шли? Шли по дороге Родины, и где-нибудь на клочке русской земли нашли себе могилу — «НЕ-ИЗВЕСТНОГО КАДЕТА».

.

Дерзкое похищение знамен, бегство арестованных окончательно испортили и без того натянутые отношения власти с корпусом. Администрация и кадеты жили нервной жизнью.

.

Атмосфера растерянности охватила город в день 20-го июля. Со всех сторон слышалось отдаленное бухание артиллерийских выстрелов. Горожане притихли ... испуганная власть беспорядочно убегала ...

... Стихла ночная канонада под Киндяковкой, и на рассвете на плечах бегущей красной армии в город первым врывается эскадрон штаб ротмистра Стафиевского, бывшего симбирского кадета. По тихвинскому спуску с берега Волги в город вступают серые, запыленные коллоны чешской бригады капитана Степанова. Симбирск взят войсками полковника Каппель. В городе праздник, ликование ... Корпус вздохнул легко. Дальнейшие со-

бытия развивались с неимоверной быстротой. 6-го августа доблестные войска полковника Каппель штурмом берут Казань. 13-го августа 1-я красная армия подходит к подступам Симбирска. Прибывший из Казани полковник Каппель, умелым руководством своих немногочисленных войск, личной храбростью и обаянием спасает город, но не надолго. Гражданские войны живут законом головокружительных успехов и не менее головокружительных откатов. 10-го сентября, после кровопролитного боя, большевики снова овладевают Казанью. Красная конница занимает Лаишев на противоположном берегу Волги, угрожая тылу, и отрезая путь отхода Симбирской группы войск полковника Каппель.

11-го сентября, по стратегическим соображениям, армия полковника Каппель оставляет Симбирск и начинает планомерный отход по линии: Часовня, Чердаклы, Мелекесс . . . Уфа.

В день отхода армии для эвакуации кадетского корпуса штабом армии был предоставлен буксирный пароход с баржей и указан путь следования — Сенгилей, Ставрополь, Самара, и по железной дороге . . . Оренбург.

Наступила последняя ночь. Со стороны Киндяковки, Поливны слышалась артиллерийская канонада. Шальные бризантные снаряды раскатами грома рвались в далеких пригородах. Кадеты не спали, не было паники, была мертвящая тишина прощания с родным корпусом.

Совершив последнюю молитву перед ротными

образами, черная колонна кадет развернутым фронтом рот построилась перед зданием корпуса... Шаловливые стрижи покидали родное гнездо, улетающая в неизведанный путь жизни... «Дедушка Крокодил» почерневший, осунувшийся, сгорбленный, опустошенным взором следил за последним полетом своих птенцов... Колонна строем двинулась к берегу Волги. КОРПУС ОКОНЧИЛ СВОЙ ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ.

12-го сентября в корпус вползла пошлая, оскотинелая, преступная революционная нечисть... С заволжской позиции симбирский кадет, капитан Б... прощальными снарядами мортирного дивизиона бил по родному корпусу.

ИГУМЕНΙΑ ЭМИЛИЯ

П Р И К А З

по Кавказской Армии

№ 66.

г. Царицын.

29-го июня, 1919 г.

В тяжелые годы испытаний, при двухгодичном гнете большевизма, в Царицыне, при безусловной опасности для жизни, женой подполковника Евгенией Викторовной Овтрахт, были спасены и скрыты от надругательства знамена Симбирского и Полоцкого корпусов, которые были переданы Кавказской Армии при ее вступлении в Царицын.

Отмечая это высокое проявление патриотических чувств, я, по предоставленной мне власти, награждаю Е. В. Овтрахт Георгиевской медалью 4-й степени за № 484474 и от имени всей Кавказской Армии выражаю ей глубокую благодарность за выказанное самопожертвование.

Подлинно подписал:

Генерал-лейтенант Барон Врангель.

С подлинным верно:

Начальник наградного отдела, полковник Оболенский.



Беликая бескровная застала Евгению Викторовну Овтрахт в Петрограде сестрой милосердия в одном из госпиталей союза городов.

Неприглядную, мрачную картину представляла из себя вчерашняя блистательная столица. Притих, съезжился город Великого Петра. Куда то исчезли придворные выезды, нарядные экипажи лихачей, исчезла, как будто ушла куда то, столичная нарядная бестолковая толпа. По безлюдным улицам и площадям, потерявшим свой лоск и чистоту, смертельный тайфун революции кружил неслетное количество правительственных декретов новой, свободной жизни, несшей — ВСЕМ! ВСЕМ! ВСЕМ! — голод, нищету, плач, рабство, кровь и смерть.

В мгновение была сметена монархия, сметены три века национальной чести России. К власти тянулись кровавые руки каторжан, уголовных преступников, воров, интернациональных авантюристов, будущих цареубийц. Каины совершили каиново дело: уничтожили церковь Христову, армию, семью, честь и понятие о Родине, заменив прекрасное слово «РОССИЯ» похабными буквами — Р. С. Ф. С. Р.

Русские люди, любящие Родину, боязливо спрашивали друг друга:

— А что же будет дальше? .. Россия умрет? .. Погибнет? .. и задыхаясь от зловония бесправья, насилия, грабежей, расстрелов и крови стремились покинуть столицу на рубежи Поволжья, Урала, Кавказа, Сибири.

На посту, отстаивая честь России, умирая за Родину, оставались горсточки офицеров, юнкеров и кадет.

Евгения Викторовна, вкусив ужасы февральской и октябрьской революций, решила покинуть столицу. Она сама не знала, куда и зачем она идет. Ей просто казалось, что где то еще остался маленький кусочек русской земли, где есть Бог, есть правда, есть русские люди готовые бороться за оскорбленную честь Родины. Нищая, голодная, с опустошенной душой, но с чистой верой в Бога, она оставила столицу. В своих горячих молитвах она просила Всемогущего указать ей путь которым идти, и скоро этот путь привел ее в чужой, незнакомый Симбирск, в хорошую русскую семью Мельниковых, быстро залечил душевные раны, дал последний в жизни взлет материнской любви к кадетам Володе и Сереже, дал улыбку радости, печаль слез, горечь разлуки и подвиг самопожертвования ...

... Благоговейно, как святыню, приняла Евгения Викторовна знамена из похолодевших и трясущихся рук Володи и Сережи. Она быстро закрыла на ключь дверь и взволнованная, восхищенная подвигом детей, испуганная взятой на себя ответственностью, бессильно опустилась на колени.

... Господи, помоги!... На Тебя одного уповаю... Не оставь меня грешную... дай мне силы... разум... Ты сотворил чудо... Ты украсил венцом славы чело честных детей... Ты указал им путь... Укажи его мне, недостойной...

Из расширенных просящих глаз неудержимо текли слезы... Они падали на спокойный, кроткий лик Нерукотворенного Спаса, алмазами скорби блестели в глазах Христа, струились по щекам...

... Глубокая вера, горячая молитва, вернули Евгении Викторовне утраченное самообладание, волю, веру в себя и тернистый путь самопожертвования. Зашив знамена в подушку и уповая только на помощь Божью, Евгения Викторовна твердо решила пробираться на юг, где последним дыханием воинской доблести оперировала армия генерала Врангеля.

Тяжел, опасен, полон риска был путь Евгении Викторовны, пролежавший по приволжским лесам и равнинам овечьих вольными, смертоносными ветрами воинствующего коммунизма. Глумления, обыски, издевательства стерегли каждый ее шаг... Долгий тяжелый путь, усыпанный кровавыми цветами бесправных расстрелов и расправ новых хозяев земли русской, не раз рождал в трепетной душе сомнения, но непрестанная молитва рождала новые силы — новую волю.

К середине июня 1919 года Евгения Викторовна со святой ношей добралась до Царицына. Кавказская армия на плечах бегущего противни-

ка подходила к подступам города. Три дня и три ночи город жил террором злобной, бегущей власти, жил последними грабежами, расправами, пожарами и насилием...

На рассвете 19-го июня армия генерала Врангель заняла город. Радостная, счастливая, с бьющимся, памятью о Володе и Сереже, сердцем, Евгения Викторовна вошла в штаб армии. Она была принята полковником Мамонтовым, которому и вручила спасенные знамена.

29-го июня Евгения Викторовна была вызвана в штаб армии. В присутствии офицеров штаба, генерал Врангель лично вручил Евгении Викторовне Георгиевскую медаль 4-ой степени и согласно ее желанию назначил ее старшей сестрой в 24-ый полевой госпиталь.

Для людей скромных, чистых сердцем, верующих в Бога путь самопожертвования никогда не кончается. Один обрывается, начинается другой, ибо это есть путь Христовых заповедей, путь беспредельного, вечного добра и любви к ближнему.

Передовые позиции, 24-ый полевой госпиталь... транспорт «Владимир»... остров Лемнос, Королевский английский морской госпиталь, угольный транспорт «Ялта», Константинополь, Париж, Югославия, Белград, Хопово — это жизненные этапы, где доброй рукой скромной русской женщины самоотверженно залечивались телесные и душевные раны маленькой горсточки храбрецов, последними оставивших землю Родины.

М ю н х е н . . . Тяжелая болезнь надорвала последние силы Евгении Викторовны. Бессонные, одинокие ночи медленного выздоровления родили перелом в душе и мыслях больной. Она затосковала по родине, затосковала страшной, мучительной тоской, от которой не было сил избавиться. Все чаще и чаще ею овладевали страшные мысли о безцельности и ненужности существования. Она гнала их от себя, но они как волны бушующего моря возвращались с новой силой, пенились злобной пеной новых сомнений, разъедали ослабевшую волю. В эти минуты Евгения Викторовна с головой укрывалась одеялом, высохшие губы бессильно спрашивали . . . Почему я такая несчастная ? . . . Такая опустошенная круглая сирота ? . . . Почему ? . . . Почему я замечаю искорки счастья в глазах: итальянца, грека, турка, француза, немца ? . . . Почему . . . У них есть Р О Д И . Н А . . . Есть своя Греция, Турция, Германия, Франция . . . Почему у меня нет Родины ? . . . Кто отнял ее ? . . . По какому праву ? . . . Куда бы я ни приехала, я нигде не найду Родины . . . Родина одна, как у ребенка мать . . . Не может у ребенка быть двух матерей . . . Кто вернет мне Родину ? . . . Кто вернет мне шелест русской березы, аромат скошенного сена ? Кто водой Родины утолит мою жажду ? Кто моему больному сердцу даст воздух Родины ? . . . Б О Г . . . ПРЕЧИСТАЯ ДЕВА . . .

Евгения Викторовна избрала путь самоотречения . . . Уединением и молитвой она постепенно очищала мятежный бунтующий дух греховной

природы, уходила от мирского зла, искушений, соблазнов и внешним и внутренним аскетизмом приготавливала себя к вечной, блаженной жизни... Умерла для мира Женя Свирчевская-Овтрахт, в мир родилась смиренная игумения Эмилия.

Скоро игумения Эмилия основала в Мюнхене Успенский женский монастырь и, движимая любовью к ближнему, интернат для девушек женской гимназии. Тяжелую жизнь вел монастырь, и, лишенный какой-либо материальной помощи, просуществовал всего 4 года и закрылся. Перед немногочисленными обитателями монастыря встал грозный вопрос дальнейшего жизненного пути. Часть сестер с благословения игумении уехала в Иерусалим, а сама игумения с оставшимися сестрами переехала в Америку.

В одном часе езды от Нью-Йорка, в порою дремлющем, порою бушующем лесу, словно укрывшись от мирской суеты, тихой, как святая молитва жизнью, живет маленький монастырь — «Ново-Дивеево».

Духовная покровительница обители, Пресвятая Богородица, кротостью и смирением озаряет маленькую церковь и келии не многочисленных обитателей, жертвенно несущих в греховный мир любовь к ближнему. Под сень обители стекаются измученные душой и телом русские люди. Молитвой отогревают усталые сердца, залечивают свои душевные раны, находят приют и ласку.

Престарелая игумения на покое... Тишина в обители, тишина в молитве, в сердце, в лесу...

Зашевелятся, засмеются листья березки, игумения поднимет голову, улыбнется, вспомнит шелест русской березы и снова угаснет. Снова идет между деревьев по ковру чуть шуршащих листьев, бледными губами шепчет молитву...

— Здравствуйте, игумения Эмилия! — прошебечет с дерева красногрудая птица.

— Здравствуй, птаха! — смиренно ответит игумения и долгим взглядом провожает смелый полет птицы.

— В Нью-Йорк полетела... а может быть в Россию, — говорит устремленный в даль угасающий взор игумении.

Уходит день, сумерки наступающей ночи съедают розоватый свет заката, темнеет дремлющий лес...

В тихой келии синим огнем теплится лампада... Казанская... Тихвинская Божии Матери, Николай Мирликийский Чудотворец смиренно внемлют последней молитве игумении...

«ЗА СТРАЖДУЩУЮ РОДИНУ... УМУЧЕННЫХ И УБИЕННЫХ ЗА ПРАВОСЛАВНУЮ ВЕРУ И ОТЕЧЕСТВО... ЗА СИМБИРСКИХ КАДЕТ... ЗА ВОЛОДЮ И СЕРЕЖУ».

Примечание.

В 1920 году при эвакуации армии из Крыма спасенные знамена были отправлены в Югославию в г. Сараево и переданы на хранение в Сводный Кадетский Корпус. Знамя Симбирского корпуса было помещено в киот и находилось в корпусной церкви, как

запрестольный образ Спаса Нерукотворенного. После перехода корпуса в г. Белая Церковь этот киот со знаменем хранился в корпусном музее. В 1945 году, Сводный Кадетский Корпус кончил свое существование и икона Спаса Нерукотворенного была передана на хранение в русскую церковь в г. Белая Церковь. В январе 1955 года, с разрешения югославских властей икона прибыла в Америку и находится в Митрополичьей Синодальной церкви в г. Нью Йорк.

БАРОН ЦЕГЕ ФОН МАНТЭЙФЕЛЬ

Сережа Мانتэйфель происходил из знатного рода обрусевших и обедневших остзейских баронов. Худенький, стройный, как все остзейские бароны, блондин, он унаследовал от предков черты аристократизма. Так его в классе и называли — «аристократ духа». Эти черты наружно выявлялись во всем: в манере двигаться, говорить, слушать, есть, смеяться... Эти черты внутренне обогатили его душу элементами личной порядочности, любовью к правде, отсутствием зависти и тщеславия, и так же наделили его сердечным отношением к одноклассникам. Он не имел врагов и ко всем друзьям относился одинаково ровно, однако легко подпадая под влияние той или другой группы, каждая из которых жила своими неписаными законами, и здесь выявлялись некоторые, еще не проснувшиеся, черты характера молодого барона Монтэйфель: склонность к карьеризму, смелость, риск, дерзость мысли и желание везде быть первым.

Он был способный мальчик, науки давались ему очень легко и в седьмом классе он по праву был награжден вице-унтерофицерскими нашивками, которые носил с остзейской гордостью и врожденным изяществом. Его любимым предметом была математика во всех ее многогранных формах, а личное самолюбие легко позволяло ему конкурировать в знании этих наук с фельдфебелем Аверниром Ефимовым и кадетом Константином Прибылович. Любовь к этим наукам окончательно предопределила его дальнейший путь: Михайловское Артиллерийское Училище... Конная артиллерия.

1907 год... Последний год в корпусе. Впереди действительная служба в военных училищах, для пехоты и конницы два года, для артиллеристов и инженеров — три. Кадеты выпускного класса уже разделились на группы по родам оружия и по военным училищам.

Сергей Цеге фон Мантэйфель легко сделался любимцем группы будущих Михайлонов и так легко было представить его себе сначала в форме юнкера, а затем в форме поручика конной артиллерии. Незаметно подошел декабрь, трехнедельные рождественские каникулы, и Сережа уехал в Ригу к родителям. С каникул, к удивлению всего класса, Сережа вернулся каким-то другим, как будто его подменили, и скоро он объявил друзьям, что дальнейшее образование намерен продолжать не в Михайловском Артиллерийском Училище, а в Московском университете. Остается не-

известным, кто и что могло так повлиять на Сережу Мантэйфель, и поздние нити разгадки тянутся к очаровательной Раисе Штельман, курсистке Московского университета и подпольной политической работнице.

Решение Сережи Мантэйфель произвело угнетающее впечатление на весь класс. Начались уговоры, сначала Михайлонов, потом всего класса, воспитателя подполковника Фадеева и, наконец, фанатика артиллериста инспектора классов, полковника Иртэль. Уговоры не дали положительных результатов и в мае, окончив корпус, барон Цеге фон Мантэйфель поступил на математический факультет Московского университета.

.

Москва... Февраль 1918 года... Новая власть беспощадными мерами укрепляет молодые корни октябрьской революции, создавая свой новый мир, мир бесправия, рабства... Разнузданная, бросающая фронт солдатня, разбивая полустанки, станции, нескончаемыми эшелонами едет домой, творить расправу на местах. Снявшие погоны, потерявшие свои части, офицеры группами и в одиночку тянутся в столицу, дабы хоть немного разобратся в революционном сумбуре, наметить дальнейший путь исхода из кровавого угара в честные очаги борьбы, ярким пламенем чести вспыхивающие на Дону, в Сибири, на Урале, на Волге... Под покровом ночи, волнами, пешком покидали офицеры голодную столицу и новые волны влива-

лись в нее с фронта. Власть, желая в корне пресечь утечку опасного контр-революционного элемента из столицы, спохватилась, и в один морозный февральский день вся Москва была заклеена декретом о немедленной и обязательной регистрации и взятии на учет всех офицеров. Декрет заканчивался угрозой — «РАССТРЕЛА БЕЗ СУДА И СЛЕДСТВИЯ» для уклонившихся от регистрации. Бойко заработал особняк № 57 по Столешникову переулку и все чаще и чаще упоминалось имя жестокого мадьяра Цеге, главы регистрации и выездных пропусков.

Прибыв с фронта в Москву, Брагин застал только брата Евгения, курсового офицера и защитника Павловского Военного училища. Мать и сестры были на юге, в Ростове на Дону. Оставаться в Москве было не безопасно, и братья решили покинуть столицу. Евгений, пренебрегая угрозами декрета, решил единолично пробираться на юг в надежде встретиться с семьей, Георгий решил попытаться счастья в Столешниковом переулке и в случае неудачи двинуться в Симбирск, в корпус.

.

... Брагин пришел к особняку № 57 умышленно рано, чтобы в случае неудачи с пропуском иметь какой-то отрезок дня для сборов, так как твердо решил наступающей ночью покинуть столицу. Дверь из маленького загаженного и зловонного холла вела в просторную гостиную, сохранившую в своей верхней части, с еще не украденными

картинами и люстрами, следы недавнего богатства и роскоши. За тремя небольшими столами в кожаных тужурках, нечесанные, потерявшие облик женщины, секретарши записывали фамилию, адрес и давали номер.

— Подождите, товарищ, вас вызовут по вашему номеру... Товарищ Цеге еще не приехал...

Несколько уже зарегистрированных офицеров с загорелыми честными лицами, не раз смотревшими смерти в глаза, стояли каждый в отдельности с понурыми головами, словно стыдились приходу сюда. Такое же ощущение испытывал и Брагин.

Начался прием... Вызываемые по разному задерживались в кабинете всесильного Цеге, но каждый выходил с поникшей головой, умышленно избегая чужих взоров.

— Номер 13...

— Чертова дюжина, — подумал Брагин и вошел в кабинет... В глубине за огромным письменным столом, заваленным грудой бумаг, с расстегнутым воротом, в толстовке, сидел небритый, нечесанный всемогущий Цеге. Он сверкнул стальными глазами на Брагина и сухо сказал: — Садитесь... Отвечайте правдиво и четко на задаваемые вопросы...

— Имя... отчество... фамилия...

— Георгий Павлович Брагин.

— Где окончили образование?... Среднее и высшее...

— Симбирский кадетский корпус... Александровское...

— Брат Митя?

— Да...

— Бедный Митя, так несуразно погиб... роковое падение с ледяной горки...

Цеге резко опустил голову, пряди влажных волос упали на широкий породистый лоб, вены на висках взбухли, нервно забегали мышцы скул...

— Митя... Митя, прости, — шипящим, еле слышным шопотом произнес Цеге, обоими руками сжимая голову...

— Митя, лучший друг... твой брат? Прости... но традиция корпуса... ведь мы все на «ты»... все братья... прости... Митя Брагин, а другого барон Мантэйфель, как вор, преступник скрывает свою фамилию... Цеге... Цеге... мадьяр Цеге... Зачем ты пришел? Мучить меня? Издеваться надо мной? Чтобы сказать, что я подлец?.. Симбирского кадетского корпуса барон Мантэйфель подлец?.. Нет... Слышишь, нет... подлец мадьяр Цеге...

Он низко опустил голову, тяжело дышал, поросшая волосами рука потянулась к нагану... Слова полубольного фанатика тяжестью придавили мозг Брагина. Насыщенные невероятной болью, чуть слышные слова коснулись его слуха.

— Зачем ты пришел?.. зачем?.. Мне довольно батюшки Успенского... Он все еще тревожит мой сон, приходит ко мне, гладит по голове и учит

меня... все говорит: — «Сережа, опомнись... молись Богу... проси Бога».

Он вскинул голову, лицо искривилось улыбкой всеотрицающего презрения.

Л о ж ь . . . л о ж ь . . . Нет Бога... Есть дьявол... женщина, совратившая меня... Бог это я... Цеге Бог... Мне все позволено... Три дня тому назад я впервые выпил человеческой крови... я убил офицера... за то, что в нем сохранилась честь... честь, давшая пощечину барону Мантэйфель... А может быть я убил Симбирского кадета? Что ты молчишь?... Симбирского?..

Обессиленный, он снова опустил голову, тяжело дышал...

Что ты хочешь от меня? — не подымая головы спросил Цеге.

Брагин молчал.

— Я тебя спрашиваю...

— Я хочу получить пропуск в Симбирск...

— В Симбирск?... Ты снова будешь в родном корпусе, где я учился с Митей... Гда Фадеев?... Полковник Фадеев воспитывал во мне порядочность и честь... Теперь уж поздно... возврата нет... Только никому не говори, что видел меня... Не скажешь? Он устремил на Брагина больной вопрошающий взгляд и умоляюще спросил: — «Не скажешь».

Через пол-часа Брагин получил от Цеге все необходимые документы на легальный выезд из столицы. Цеге широко открыл сейф и застенчиво

положил на стол пачку новых кредиток. Комната потонула в тишине неловкого молчания.

— Не брезгуй... возьми на память от Симбирского кадета, от барона Мантэйфель... Руки не подашь?... Не надо... не надо...

— Подам Симбирскому кадету, другу Мити...

ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ

Маньчжурия... Харбин... Последний осколок России, брошенный вихрем революции на чужую землю. Русское влияние, язык, уклад жизни, обычаи, культура и непоколебимая вера в скорую радостную встречу с Родиной. Стих последний аккорд неравной и предательски проданной союзниками борьбы. Сданы в архив: чины, ордена, погоны, шашка, револьвер... Впереди в тонах полной загадочности и неизвестности, расстилается путь новой жизни, путь борьбы за право жить. Новые надежды и разочарования, взлеты и падения, радости и печали.

... Брагину еще раз в жизни при несколько необыкновенных обстоятельствах довелось встретиться с Екатериной Максимилиановной мисс Френч. Живя в Харбине, он даже не знал, что постаревшая, больная, часто прикованная к кровати, мисс Френч тихо доживает свою жизнь в маленьком особняке по Большому проспекту. Потеряв Киндяковку, особняк на Покровской улице, реквизированный и превращенный большеви-

ками в городской музей, мисс Френч, английская подданная, не поехала в Англию, а с русской волной пила чашу беженства и докатилась до Харбина. Она жила с доходов своего ирландского имения, и так как запросы личной больной жизни были уже не значительны, широко занялась благотворительностью. Она числилась почетной попечительницей монастырской больницы имени доктора Казем Бек, и хотя стены больницы ее никогда не видели, они были молчаливыми свидетелями ее доброты, заботы и сердечности. Ее домашним врачом был старший ординатор больницы доктор Борис Николаевич Чистяков.

Монастырская больница для пополнения своих средств готовилась к большому благотворительному балу. В маленькой квартире доктора Чистякова последняя репетиция хора цыган. Плач гитар, огневые мелодии разбитной таборной песни чередуются с грустью непонятой, отвергнутой любви... Брагин большой любитель и знаток цыганской песни, с энтузиазмом управляет хором. Смолк последний аккорд... В гостиную вошел разруганный декабрьским морозом Борис Николаевич.

— Господа!.. У меня к вам большая просьба... вернее не у меня, а у мисс Френч... Я только что от нее... Екатерина Максимилиановна очень просит вас завтрашнюю генеральную репетицию провести у нее за ужином, и если возможно, в костюмах... Я всячески отговаривал ее, ибо по состоянию здоровья ей нужен полный покой,

а не цыганская песня... но я сам сделал оплошность, сказав, что чавалом хора является бывший Симбирский кадет... Никакие дальнейшие уговоры результатов не принесли... Отказать — обидеть добрую больную женщину, согласиться...

Резкий телефонный звонок оборвал слова Бориса Николаевича.

— У телефона доктор Чистяков... Кто говорит?... Екатерина Максимилиановна... да, да сказал... одну минуту... Господа, Екатерина Максимилиановна ждет у телефона вашего согласия...

Хор вошел в переднюю... Гитары проговорили отыгрыш... Лида Костерина запела —

«Возьми свою гитару, и как в былые дни...

По пьяному угару — былое вспомяни...»

Хор ответил припевным согласием.

.

Просторная столовая в доме мисс Френч залита огнями, огнями жизни. Блестками алмазов со стола сверкает фамильный хрусталь, серебро... Белое поле скатерти выткано разноцветным ковром цветов, вин, закусок... Хор цыган в ярких костюмах дополняет русскую ширь, черные фраки лакеев подчеркивают торжественность момента... Все ждут появления Екатерины Максимилиановны Френч.

Тихо приоткрылась дверь, и в ее просвете, в сопровождении доктора Чистякова, показалась худенькая, сгорбленная женщина. Черное закры-

тое платье подчеркивало бледность ее лица. Узел редких, влажных, как бывает у тяжело больных, волос был схвачен на затылке черной бархаткой. Волей к жизни дышали только улыбка и глаза.

— Екатерина Максимилиановна! Разрешите представить вам нашего чавала, — сказал доктор Чистяков.

— Симбирского корпуса? — тихо спросила мисс Френч, похолодевшими губами чуть коснувшись лба Брагина.

— Брагин, Георгий...

— Брагин?... Позвольте... позвольте... Мы где-то сравнительно недавно с вами встречались... Совсем старуха стала... память теряю...

— В Рузаевке...

— Да, да в Рузаевке... Мы вместе завтракали... А как звали этого старика? Я еще обещала навестить его внучат... Так и не довелось, а теперь уже не навестишь... поздно...

— Пал Палыч...

— Да, да Пал Палыч... а внучат помню... Наташа, Ирина и Павел... Дорогие гости, прошу к столу... Чем богата — тем и рада... Спасибо вам, что приехали... Вы со мной, — тихо закончила мисс Френч, обращаясь к Брагину.

Все с радостным шумом сели за стол. Зазвенели ножи, вилки, полилось вино, и первоначальная робость сменилась весельем.

Екатерина Максимилиановна все время говорила о корпусе, нескончаемые волны воспоминаний набегали одна за другой, в случайных брыз-

гах воскрешая имена, моменты, события навсегда затонувшей жизни. Она ничего не ела, а маленькими глотками пила холодную воду, словно старалась охладить пыл нахлынувших воспоминаний.

— Екатерина Максимилиановна, разрешите спеть первую, застольную...

— Конечно, конечно... Я вся внимание...

Гитары дали аккорд, Брагин запел...

Привет вам, гости дорогие,
Цыгане любят петь всю ночь,
Споем мы песни вам родные,
Тоску разгоним вашу прочь.

Хор дружно взял припев:

Цыгане, цыгане, цыгане,
Привет дорогим вам, гостям.
В восторге сердце встрепенется,
Напомнит прошлое все вам,
И копь слеза у вас прольется,
Она наградой будет нам.
Цыгане, цыгане, цыгане,
Привет дорогим вам, гостям.

Брагин не запел третьего куплета... Недоумевающий хор молчал тишиной уважения к больной женщине в черном закрытом платье. Низко опустив голову, мисс Френч тихо плакала... Крупные слезы капали на шлифованную, белую площадь тарелки. О ком и о чем были эти слезы, знала только мисс Френч.

— Шампанского !!! — резко врезалось в большую тишину.

Засуетились лакеи... Доктор Чистяков побежал к мисс Френч.

— Екатерина Максимилиановна, помилуйте... вы губите себя...

— Милый доктор, лечить мисс Френч вы будете завтра... Сегодня я хочу жить... Шампанского!...

Она взяла бокал искристого вина и, высоко закинув голову, прокричала: — «За Симбирских кадет!» Громовое ура цыганского хора раскатилось по столовой.

— Простите мне мою слабость... так вспомнилось... вспомнилась вся жизнь, — тихо сказала Брагину мисс Френч. Она очень скоро овладела собой, и остаток ужина прошел в теплых и веселых тонах. Радушная хозяйка много смеялась, только смех ее был каким-то больным... Кофе и ликеры пили в гостиной. Позже подошли послушать цыганщину профессор Рерих, князь и княгиня Ухтомские, профессор Анэрт, и далеко за полночь в полутемной гостиной слышались аккорды гитар и грусть цыганской песни.

.

Через 17 дней город облетела печальная весть. Екатерина Максимилиановна Перси Френч оставила мир. Посмертной волей Екатерины Максимилиановны, переданной доктору Чистякову, было

желание, чтобы ее последний путь на земле сопровождали ксендз и православный священник . . .

Белый катафалк, запряженный шестью рослыми лошадьми под белыми сетчатыми попонами, заскрежетал тяжелыми колесами по морозному снегу. Ксендз Витковский, настоятель кафедрального собора о. Леонид Викторов, протодьякон Корестелев, соборный хор, вереница друзей и знакомых отдавала последний долг полуангличанке, полурусской, полукатоличке, полуправославной мисс Перси Френч. Серебряные, золотые, эмалевые венки тихо шелестели листьями . . . В лучах холодного январского солнца синим огнем лобелий горел несколько необычный венок в виде синего погона с желтыми буквами — «С. К.» На широкой синей ленте, ласкающей венок, золотом было напечатано — «ОТ СИМБИРСКИХ КАДЕТ».

ЭПИЛОГ

1955 год... Соединенные Штаты Америки... Сан Франциско... За окном стихийным свистом стонал ураган, крупные капли дождя и града барабанили по стеклам окон, редкие раскаты грома напоминали артиллерийскую канонаду... В скромной уютно обставленной комнате, потонувшей в полумраке двух настольных ламп, сидели два друга... пожилые... почти старики... Серебро редких волос, глубокие морщины жизни, усталые глаза устало смотрели на близкие грани неизбежного... и только помолодевший слух жадно ловил каждую фразу, каждое слово... Один читал другому какую-то рукопись... Мозолистые рабочие руки медленно, не спеша, перелистывали страницы навсегда затонувшей жизни...

«... Двенадцать часов дня... Портретный зал строевой роты украшен флагами и вензелями... одетый в серебряную парчу аналой, слева стол, покрытый зеленым сукном, с которого свисает бело-синее с золотым шитьем знамя»... чеканя каждое слово читает Брагин.

«... После краткого слова Великого Князя, высказавшего уверенность Императора в том, что Симбирские кадеты, разлетевшись по полкам русской армии, покроют себя неувядаемой славой воинской доблести и чести, началась торжественная церемония прибавки знамени.....
... Знаменщик Ломанов, бледный, сосредоточенный, спокойно-размеренным шагом подошел к столу, принял из рук вице-фельдфебеля Ефимова знамя и отошел на середину зала... «Под знамя слушай на краул»...

Голос Брагина дрогнул... В глазах друзей блеснули искорки слез... За окном прогремел раскат грома...

— Да, это все было... все свежо... все затонуло... жизнь обманула, — чуть слышно сказал Ефимов.

— Так ли, Авенир?.. Обманула-ли?.. Разве не пронесли мы через шквал революции, гражданской войны, скитаний, нашу честь, наше знамя?.. Оно совсем близко, в Нью Йорке, в митрополичьей церкви... Разве погасли в наших сердцах слова данной присяги?.. **«НО ЗА ОНЫМ ПОКА ЖИВ СЛЕДОВАТЬ БУДУ»**... И мы следуем... Под сень его стекаются поредевшие ряды Симбирских кадет, и кроткий лик СПАСА НЕРУКОТВОРЕННОГО, как неугасимая лампада, светит прямо в их постаревшие души и светом чести озаряет их усталые сердца.

СО Д Е Р Ж А Н И Е

Предисловие		3
Симбирский Корпус		7
Жоржик Брагин		17
Скульпторы и статуи		24
Первые впечатления		32
Звери		42
Великий пост		52
Исповедь		57
На каникулы		64
1906 год		68
Великий Князь Константин		79
Великокняжеская подкладка		85
Знамя		90
Кагор		96
Поливна		106
Лес		113
Михеич		120
Мальсагов в лазарете		134
Экзамен		144
Мисс Перси Френч		152
На катке		166

В цирке		182
На лыжах		191
Каптенармус		203
Масленица		212
Яблоня цветет		221
К новой жизни		229
В поисках минувшего		237
Рузаевка		248
В родном гнезде		255
Разрыв		269
Почему?		278
Мама		286
Подвиг		291
Игумения Эмилия		301
Цеге барон фон Мانتэйфель		310
Последний путь		318
Эпилог		325

THE LIBRARY OF THE
UNIVERSITY OF
NORTH CAROLINA
AT CHAPEL HILL



RARE BOOK COLLECTION

The André Savine Collection

U604
.S56
R1
1955

